

0-38

4•1983

Октябрь — декабрь

**ОГНИ**  
**КУЗБАССА**







Ю. Г. Лобузов. Год 1931. Кузнецкой. Холст. Масло

№ 4 (81)

Год издания 35-й

Выходит  
ежеквартально

# ОГНИ КУЗБАССА

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ  
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ АЛЬМАНАХ,  
ОРГАН КЕМЕРОВСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  
СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ РСФСР

Редактор

Владимир МАЗАЕВ

Редакционная коллегия:

Виктор БАЯНОВ

Сергей ДОНБАЙ

Геннадий ЕМЕЛЬЯНОВ

Валерий ЗУБАРЕВ  
(отв. секретарь)

Владимир КУРОПАТОВ

Владимир МАТВЕЕВ

Валентин МАХАЛОВ

Зинаида ЧИГАРЕВА

Геннадий ЮРОВ

## В НОМЕРЕ

### ПРОЗА

- Евсей Цейтлин. Свет не гаснет. Документальное повествование ..... 3  
Владимир Куропатов. Черный мальчик и белое облако. Повесть ..... 27

### ПОЭЗИЯ

- Валерий Зубарев. «Восток плеснул кармина...» Великан. Творец. «Живу, считай, на гребне мира...» Огородная быль 23  
Владимир Петраш. Май 45-го. «Вдоль магистрали Транссибирской...» Крестьянский сын... Косьба. Обида. Диалог 49  
Владимир Горбась. Калиновая ветвь (баллада). «Отсутилась осень...» О песне ..... 50

### ЛИТЕРАТУРНАЯ МАСТЕРСКАЯ

- Геннадий Юров. Старинная студенческая песня ..... 52

### НАШ СОВРЕМЕННИК

- Валерий Золотухин. Подвиг слова ..... 56

### ПАМЯТЬ СИБИРИ

- Мэри Кушникова. Кузнецку посвящается... ..... 63

### СЛОВО — КРИТИКЕ

- Валентина Ляхова. Душа человеческая. (Заметки о новых повестях Гария Немченко) ..... 72  
Валерий Куприенков. Горит огонь и будущий и бывший . 77  
Содержание альманаха «Огни Кузбасса» за 1983 год ... 79



390503

Кемеровское  
книжное  
издательство  
1983

Адрес редакции:  
650099, Кемерово-99,  
Советский пр., 40,  
тел. 6-26-95, 6-85-14

## НАШИ АВТОРЫ

Рукописи  
не возвращаются

Ведущий редактор  
*Л. Глебова*  
Художественный редактор  
*В. П. Кравчук*  
Технический редактор  
*Г. В. Адова*  
Корректор  
*Е. И. Тимошук*

**Цейтлин Евсей Львович.** Родился в 1948 году в Омске. Окончил Уральский государственный университет. Кандидат филологических наук. Критик и литературовед, автор нескольких книг. Член Союза писателей СССР. Живет в Калининграде.

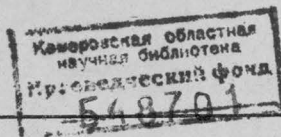
**Петраш Владимир Игнатьевич.** Родился в 1938 году в с. Савковка Черкасской области. Окончил Томский государственный университет. Работает в многотиражной газете «Знамя труда». Публиковался в периодической печати. Член областной литературной студии «Притомье». Живет в Новокузнецке.

**Горбась Владимир Георгиевич (1939—1982 гг.)** Родился на Урале. Окончил институт в Свердловске. Работал инженером Новокузнецкого научно-исследовательского института Тяжпромэлектропроект. Публиковался в периодической печати.

**Золотухин Валерий Сергеевич.** Родился в п. Быстрый Исток, на Алтае. Окончил ГИТИС им. А. В. Луначарского. Артист Московского театра драмы на Таганке. Автор книги «На Исток-речушку, к детству моему».

**Ляхова Валентина Васильевна.** Родилась в г. Тулун Иркутской области. Окончила Иркутский педагогический институт. Кандидат филологических наук, доцент Кемеровского института культуры. Ее статьи публиковались в периодической печати.

На первой стр. обложки: Ю. Г. Лобузов.  
Рекорд. Холст. Масл.  
На четвертой стр. обложки: Ю. Г. Лобузов.  
Натюрморт. Холст. Масло.



Сдано в набор 25.08.83. Подписано к печати 3.11.83. ОП 09300. Формат 70×90<sup>1/16</sup>. Бумага типографская № 3. Печать высокая. Усл. печ. л. 5,85. Усл. кр.-отт. 6,73. Уч.-изд. л. 7,64. Тираж 7 000 экз. Заказ № 14769. Цена 40 к. Кемеровское книжное издательство. Полиграфкомбинат. Адрес издательства и типографии: 650059, г. Кемерово, ул. Ноградская, 5.



Евсей Цейтлин

# СВЕТ НЕ ГАСНЕТ

ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ ПОВЕСТВОВАНИЕ



Я стал думать о нем, не поняв однажды логики его поступка. Мы были знакомы давно, казалось, я хорошо знаю Владимира Сергеевича. Но вот услышал: он отказался от операции. Операция могла вернуть ему зрение.

Зрение было потеряно почти сорок лет назад. И все эти годы он больше всего мечтал увидеть краски мира. Мечта о свете являлась ему поводом, если можно так сказать о мечте. И Ворошилов уверенно шел по жизни. Когда он стал писателем, детская упрямая жажда видеть определила даже названия его книг: «Солнце продолжает светить», «И не погаснет!», «Капля света».

Раньше операция казалась невозможной — была не готова медицина. Ворошилов следил за новейшими исследованиями в области глазной хирургии, сам предсказал, когда, наконец, ему скажут: можно. И вот теперь...

Я спросил его: «Почему?» Он помедлил и ушел от прямого ответа. «Да все ведь решено несколько лет назад. В моей новой книжке есть даже схожая ситуация».

Я не сомневался: это не оговорка. Он не умел лукавить. Я читал его романы и прежде, знал: они пользуются популярностью, издаются и у нас в стране, и за рубежом. Но теперь перечитал книги Ворошилова иначе. И опять убедился: в произведениях писателей кроется разгадка судеб самих творцов.

Не хочу заинтриговывать читателя: это вовсе не рассказ о подвиге и героизме. Конечно, жизнь потребовала от Ворошилова немало мужества, но он сам всегда считал, это был прежде всего поиск обычного человеческого счастья. По-моему, он был прав. Так что, думая о Ворошилове, давайте подумаем и о себе.

## ДВЕ ЖИЗНИ ВЛАДИМИРА ВОРОШИЛОВА

### I

Свою жизнь он разделил на две части: первую и вторую. Сказал как-то мне: «Первая жизнь была короткой, я ее плохо помню. Вторая уже в два раза длиннее».

Первая жизнь началась в 1919 году в городе Ленинске-Кузнецком, где он родился. Закончилась осенью сорок первого — после

ранения, навсегда закрывшего ему свет. Первая жизнь продолжалась, таким образом, двадцать два года.

И все-таки: какой она была? Я упорно пытался понять это, настойчиво возвращался в разговорах с Ворошиловым к одним и тем же эпизодам и фактам. Но все было бесполезно. Наконец я понял: первая жизнь Владимира Сергеевича была не просто очень дале-

кой для него — она была ему неинтересной. Хотя, конечно, вспоминая первую жизнь, он испытывал нежность к ушедшим дням: это естественная нежность человека, оглядывающегося в молодость.

В той жизни были маленькие городки и поселки Кузбасса, куда семья переезжала вслед за отцом, почтовым работником. Больше других запомнились мальчику Мыски — тогда обычная шорская деревня. Во второй половине дома, где они жили, была почта. Володя своеобразно видел чужую, взрослую жизнь — рядом с почтовым окошечком: чью-то одинокую старость, чью-то радость, любовь, всегда внезапно приходящую — вместе с телеграммой — смерть.

Сразу за деревней начинался лес: те березы, ягодные поляны снились ему потом в цветных снах. Володя выучил шорский язык. Увлёкся, как многие тогда, радиотехникой. Дружил с девочкой Клавой. Они походили друг на друга, нередко приезжие спрашивали: вы не брат и сестра? Когда они познакомились, ей было девять лет, ему — десять; они не поссорились, не надоели друг другу — за два года перед войной поженились. Окончив школу, Ворошилов работал сначала воспитателем в детском доме, потом учителем начальных классов.

Война началась для него рано — в тридцать восьмом: в авиационном училище на Дальнем Востоке, в летном полку, где потом служил Ворошилов, говорили о большой войне как о чем-то бесспорном, только никто не знал точно — когда?

Что было еще в той, первой, его жизни? «Так, лирика...» Играл в драмкружке, особенно почему-то удавались роли купцов в пьесах Островского. Писал стихи — «глухие, сопливые». Мечтал — видел себя в будущем то Качаловым, то Есениным, то знаменитым воздушным асом, то архитектором.

Он был еще мальчишкой, самым молодым летчиком полка. А в Кузбассе уже росла дочь, мыкалась по частным квартирам Клава, занималась в учительском институте, потом проверяла ночами тетрадки первоклассников. Песни под гармошку или гитару (он уже тогда умел играть почти на всех музыкаль-

ных инструментах); усиленные занятия спортом; затем, с начала войны, письма: «Люблю вас обеих, скучаю, отомщу за нашу тоску врагу»; ни с чем не сравнимое ощущение полета...

Песни остались — он любил петь до самой смерти.

Письма пропали куда-то в жизненном вихре.

Полетов было не так много, как хотелось, — последний тридцатого сентября сорок первого.

Была ли та жизнь или только приснилась? Есть люди, которые любят возвращаться в прошлое, перебирают его, точно фотографии в старом альбоме. За годы, которые потом минули, у Владимира Сергеевича было мало времени на воспоминания. Фотографии для него выпцвели рано.

## II

В госпитале Ворошилов чувствовал себя счастливым.

Я удивился, первый раз услышав от него об этом. Он негромко повторил то изумившее меня слово: счастье.

Рядом с Ворошиловым в палате лежал человек, лишившийся рук, ног, зрения. Сосед говорил мечтательно: «Мне бы хоть два пальца...» Таких молодых ребят в госпитале было много; просто, жалея наши нервы, их не показывали в тогдашних мажорных фильмах. Про свое ранение Владимир Сергеевич думал с радостью и стыдом: легкое...

Горечь пришла потом. В сентябре сорок второго Ворошилова вывели из поезда на перрон в Новокузнецке; к нему бросилась Клава. А он понял, что никогда не увидит это родное лицо.

Сначала жили большой семьей в двух комнатах: родители, два брата, сестра с ребенком, они с дочкой. Затем поселились отдельно. С болью, однако решительно, навсегда Клава оставила работу и на многие годы стала для него всем — не только любимой, другом, но и секретарем, стала его глазами. Это был негромкий подвиг любви. Но о том надо писать отдельно.



Он решил стать писателем. И хорошо понимал: писательству, как и всему на свете, надо учиться. За несколько лет они прочитали почти всю мировую классику. Еще шла война. Они прерывали чтение, когда по радио передавали сводки Совинформбюро. Жили на пенсию Владимира Сергеевича — экономно и дружно. Дни казались похожими. Но они хорошо видели движение жизни: росла дочь. Каждый вторник прохожие смотрели, как молодая женщина ведет слепого военного во Дворец культуры металлургов. Там собиралась литературная группа. Рядом сидели разные люди, одинаково влюбленные в литературу: школьники и старый шорский сказитель, медсестра, рабочие, журналисты.

Быстро, спеша утвердиться в новом призвании, Ворошилов написал несколько рассказов из фронтовой жизни. Рассказы были плохие, хотя их печатала районная газета — скорее всего из-за нехватки материалов и из сочувствия к автору. Еще быстрее он сочинил пьесу. Пьеса была тоже о фронте и тоже слабая. Перепечатывали, волновались, гадали, куда отослать, вместе шли на почту, послали почему-то не в театр, а в Новосибирское издательство, каждый день ждали потом почтальона, верили и не верили в удачу. Спасибо рецензенту: он сказал правду. Не оставил от пьесы и камня на камне. Но жалость была бы обиднее. Они страдали, скрывая это друг от друга; но не скрывали надежду.

### III

...Он не писал десять лет. Жажда творчества никуда не ушла, только он решил подождать. Рано или поздно вдохновение возвращается к человеку — если не бояться ожидания.

Как жил он эти годы? О чем думал?

В сорок пятом Ворошиловы переехали в

Кемерово. Владимир Сергеевич стал председателем областного правления Всероссийского общества слепых. Он погрузился в жизнь, которую раньше не знал. И жизнь эта стала переделывать Ворошилова, а он в свою очередь начал переделывать ее. Если сказать коротко, это и определило темы его романов.

Нет, их не назовешь автобиографическими в привычном смысле слова. Главный герой Ворошилова Сергей Томилов — горный инженер, он потерял зрение во время аварии на шахте. А Ворошилов спускался в шахту всего несколько раз, когда писал свою книгу. Конечно, ему читали учебники по горному делу; чтобы проверить себя, он даже упросил преподавателя техникума принять специальный экзамен. И все же...

По-моему, мало похожи друг на друга невеста, а затем жена Томилова Аня, и Клавдия Антоновна Ворошилова.

Схожим, однако, было другое — главное. Я думаю сейчас не о сходстве лиц, не о сходстве характеров, наблюдений, — об энергии преодоления человеком самых горьких обстоятельств. Этой энергией была наполнена и жизнь героев, и жизнь автора книги.

Снова думаю и о другом: почему его слово было услышано, понято тысячами людей?

Проще всего говорить о художественных достоинствах книги, но я, к примеру, легко вижу, что Владимир Сергеевич не был мастером слова — в том смысле, какой изначально вкладывается в это понятие; был скорее журналистом, торопившимся быстрее сказать о волновавших его проблемах. Вижу и некоторую прямолинейность психологического анализа в его романах. Пушкин писал, что произведения каждого художника нужно судить по законам, им самим над собой признанным. У Ворошилова эти законы обнажены. Перед нами книги-проповеди. Книги, дающие урок и созданные ради этого урока.

## ПИСЬМА

Все эти годы к нему приходили письма. Я получил разрешение познакомиться с ними, но читал долго: больше десяти — двадцати в

день осилить не мог. А писем было несколько тысяч.

Тот, кто знает, что такое писательская

почта, легко представит и корреспонденцию Владимира Ворошилова.

Пионеры сообщили, что зачислили его в свой отряд и приглашали на сбор.

Девушка-десятиклассница спрашивала о том, как стать писательницей или хотя бы журналисткой.

Двадцатилетняя секретарь-машинистка из Актюбинска интересовалась: «Живы ли Сергей Томилов и Аня Тихова, где они теперь?»

Кстати, таких писем было много. Читатели, не сомневающиеся в том, что автор изобразил конкретных людей, посылали запросы в адресный стол, а старушка из украинского города Конотоп — Анфиса Зиновьевна Немолот — даже пригласила Сергея и Аню провести у нее отпуск.

Впрочем, кто-то, разуверившись в жизни, высказывал недоверие к литературным героям. «У меня сомнения, — писал студент Виктор из Астрахани, — есть ли в действительности такие люди? По-моему, роман выдуман для поддержания неуравновешенных».

Читательские письма имели и еще одну, тоже характерную, повторяющуюся особенность: люди говорили о пережитом, о собственных чувствах, но, не находя своих слов, выражались чужими фразами, давно избитыми штампами.

Но были среди писем и такие, какие мог получить только Ворошилов. Вот некоторые из них.

«Здравствуйте, уважаемый Владимир Ворошилов! Извините, что так Вас называю, но я не знаю Вашего отчества. Я прочла Вашу книгу «Солнце продолжает светить», с первой же страницы она захватила меня. Я завидую Вашим героям. Попробую объяснить, почему. Хотя никогда не писала писем писателям и долго колебалась, писать ли Вам.

Я не слепая, но тоже инвалид. У меня нет обеих ног, хожу я на протезах. Хожу мало: стесняюсь, когда на меня смотрят, очень не люблю, когда меня жалеют. Я попала под поезд в двадцать лет. Образование мое в то время было восемь классов. После ампутации я встала на протезы, снова пошла работать

(и до того, как потеряла ноги, и после я работала в ателье). Но, проработав немного, решила учиться. Я поступила на заочные курсы иностранных языков в Москве, приняли меня с условием, что я закончу 10 классов. За один год я окончила 9 и 10-й классы вечерней школы. Но курсы вскоре оставила. С детства я мечтала быть врачом, когда же осталась без ног, моя мечта еще более разгоралась, я захотела делать протезы таким, как сама, ведь здоровый врач-протезист не чувствует того, что чувствует инвалид. Но при попытке поступить в наш Куйбышевский медицинский институт все рухнуло. Корпуса института разбросаны по городу, я физически не могла успеть на занятия. Затем я вышла замуж, тоже за инвалида, у него не было одной ноги. Родился сын, сейчас ему уже исполнилось три года. Первое время он отнимал у меня все свободное время, но я не жалела, мне казалось, что я буду растить сына, буду этим довольна и спокойна. Но нет, всегда сидеть дома я больше не могу, меня тянет к людям. По-прежнему большое желание учиться, но нужно работать, моей пенсии мало, чтобы прокормить себя и сына (с мужем мы разошлись, и он не помогает мне, пьет). Для чего я пишу Вам обо всем этом? Душа просит высказаться, и вот сейчас я разговариваю с Вами. Ведь я всегда одна: кроме сына, матери, которая живет со мной, и соседей, я ни с кем не общаюсь. Хорошо Вашим героям, и в особенности Томилову: столько у него хороших, верных друзей. С друзьями жить легче, а у меня их нет. Все мои друзья и подруги детства в деревне, где я родилась и жила. А в городе я восемь лет, и почти все восемь лет без ног. И без друзей. Работала я всего двадцать дней, а потом попала под поезд, мне дали комнату и давно забыли про меня. Я не обижаюсь. Но все равно: быть всегда одной — это мучительно.

Ну вот и все, я кончаю свое письмо Вам, и мне кажется, что вы где-то за стеной, сейчас выйдете и что-то посоветуете мне. Впрочем, после написанного я не чувствую радости, мне хочется плакать. А правда, что Ваши герои живут рядом с Вами? Марина Б-а».



«Владимир Сергеевич, здравствуйте! Пишут Вам Женья и Нина К-вы из Казани. Сегодня прочли Вашу книгу «Солнце продолжает светить». У нас тоже горе. Женья (ему двадцать пять лет) потерял зрение: у него была опухоль головного мозга, опухоль удалили, но Женья перестал видеть. Мы живем дружно, у нас есть сын. Женья чувствует себя хорошо, но все равно ему трудно, трудно и мне. Но не падаем духом, надеемся на лучшее. Ну а как Сергей, где он сейчас? Напишите нам, мы будем ждать. Напишите, как живете Вы и как лучше жить нам. С приветом Нина».

«Дорогой Владимир Сергеевич! Только что прочел Вашу книгу «Солнце продолжает светить». Не дочитал, а именно прочел. Уже три часа ночи, но я пишу Вам письмо. Ваша книга попала мне на глаза сегодня вечером. Если бы не она, я бы не знал о Вашем существовании. Простите меня. У меня такое чувство, будто я сделал что-то полезное. Да так оно и есть. С помощью Вашей книги я побывал в мире незрячих людей. Я здоров. До сих пор считал, что потерять зрение — значит потерять все. Потерять жизнь. Раньше всегда при виде слепых во мне вспыхивала жалость к ним. Теперь я буду просто уважать их. Я сейчас закрываю глаза, хочу поставить себя на Ваше место. Нет, мне страшновато. Это плохо? Я студент физико-технологического факультета Томского университета, но пришел сюда из шахтерской среды. Работал в г. Артеме. Был дежурным по лентам, проходчиком. Александр К.»

Из письма в издательство: «Книга В. С. Ворошилова придала мне сил и уверенности, что и я не лишний человек. Я в раннем детстве потеряла слух, а зрение потеряла в тяжелый 1943 год, работая на заводе, как и Сергей Томилов, в результате несчастного случая. Е. А. Осинники».

«Здравствуйте, Владимир Сергеевич! Я прочитала Вашу книгу «Солнце продолжает светить». Я ученица 4«а» класса восьмилет-

ней школы № 16 города Киселевска, зовут меня Нина. Когда я читала книгу, то переживала за Сергея Томилова. Нашу семью тоже постигло несчастье. Несчастье постигло нашего папу. Он сломал позвоночник. Когда папа лежал в больнице, врачи говорили, что он будет жить, но будет инвалидом. Мы и этому были бы рады, если бы наш папа был инвалидом, но был бы жив. Папа умер на шестой день после операции. И сейчас, когда увижу кого-то на костылях, я думаю, что папа тоже так бы ходил. Если бы папа остался жив, я бы всегда ему помогала. Теперь без папы трудно и грустно. У нас семья четыре человека. Бабушка, мама, сестренка Наташа и я. Спасибо Вам за книгу. Читаю, вспоминала папу».

«...Недалеко от нашего дома стоит большое серое здание — здесь живут слепые. Очень часто я провожаю их до автобуса и обратно. Мне всегда было их жаль: ведь они не видят солнца, цветов, людей, а сейчас я поняла, как унижительна эта жалость. Я поновому взглянула на тех людей, я узнала, как сильны они. Поняла и то, какое мужество требовалось для того, чтобы пережить все и написать потом книгу. Антонина Р-ва, Ташкент».

Я оборву читательские исповеди — авторы писем начинают повторять друг друга. Это звучит кощунственно — никогда не повторяется человеческая боль, не повторяется и человеческое горе. Но всегда похожи наши рассказы об этом.

Кто писал Владимиру Сергеевичу?

Один читатель из Новосибирска провел целое исследование, выясняя «аудиторию» Владимира Ворошилова. Он опрашивал посетителей библиотек, знакомых. Оказалось, произведения эти читали разные люди: научные работники, школьники, профсоюзные активисты, домохозяйки, женатые и холостые, здоровые и больные. Было ясно: не прав астраханский студент — романы Ворошилова

писались вовсе не для «поддержания неуравновешенных».

Хотя нет, потом я понял: отчасти и для этого. Конечно, литература не похожа на болеутоляющее лекарство. Но литература пишет о жизни. А сама жизнь есть и трагедия, и счастье — одновременно. Объясняя суть трагедии, эстетики любят приводить пример с зерном, которое закапывают в землю. Оно умирает, гибнет, но затем возрождается, прорастает по весне зелеными всходами. Крушение и возрождение человеческой души — это не исключение, скорее — правило жизни. Вот истина, которую напоминает своими книгами Ворошилов. Она по-своему прозвучала и во многих пришедших к нему письмах. Зачем я привел их? Разумеется, не для того, чтобы кого-то «попугать» или «разжалобить». По

этим письмам видно: автор достиг цели. Одни его читатели, оторвавшись от собственных бед, оглянулись вокруг, увидели несчастье других. И своя боль отошла, затихла. Иные, пока еще не знающие горечи жизни, поняли: возможны усталость, отчаяние и надо ценить каждый данный тебе день; все может вдруг кончиться, все рано или поздно кончается...

Тут логично поставить точку в послесловии к чужим письмам. Но, возвращаясь от разочарований и горя к надежде, идя по ее шатким мосткам, человек не перестает задавать вопросы. Как прийти к счастью? И в чем оно? «Жить, чтобы жить» — эта распространенная в быту «формула» лишь на первый взгляд кажется емкой. В конце концов, она не отвечает на сомнения, а порождает их...

## ПРОЗРЕНИЕ

### I

Писателей трудной биографии часто сравнивают с Николаем Островским. Не убежден, что это всегда правомерно. Но в данном случае сравнение оправданно. Я ставлю рядом две человеческие судьбы, сознавая разницу в их масштабах и разницу времени.

Вот итог жизни Николая Островского, точно написанный критиком Л. Аннинским: «Его судьба была словно очищена от случайностей. Она удивительно точно выявила свой смысл, удивительно ясно воплотилась. Его судьба содержала в себе великий исторический урок, и он знал это.

Прожитой им жизни суждено было прогнать на весь мир. Нужно было только записать ее. Записать так, как она была прожита: вихрем, скачками, стальной вибрирующей прозой»<sup>1</sup>.

Островский понимал значительность и самоценность собственной жизни, видел в ней

портрет поколения, к которому принадлежал. Потому и взялся за перо. Ворошилов же не находил в своей судьбе ничего особенного. Он стал писать не только и не столько потому, что хотел зафиксировать прожитое. Он всегда мечтал стать литератором. И стал им, найдя в жизни такое, о чем считал важным поведать всем.

Но в одном их судьбы схожи. Как схожи своим пафосом и книги. Оба писателя считывали на урок. И — преподали его.

«Самое дорогое у человека — это жизнь. Она дается ему один раз, и прожить ее надо так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы...» «Жизнь прекрасна», — как бы добавляет Ворошилов. Слепота не должна затмить вечную радость бытия. Урок, как мы помним, был очень нужен многим.

Почему нам часто кажется, что все происходящее с нами — впервые? А ведь все уже было. И уже множество раз приходило к людям горе. И не громко, но требовательно, властно, стучалось в окно одиночество. Одиночество и бездействие ломают даже сильных людей, — прямо говорит Ворошилов.

<sup>1</sup> Аннинский Л. Тридцатые-семидесятые. Литературно-критические статьи. М.: Современник, 1977, с. 55.



Вчера еще Сергей Томилов — начальник участка шахты. Он строит планы. Его пьют предстоящие завтра дела. Сегодня, после аварии, он другой.

Вот герой романа лежит в больнице. Первые поднимая повязку, он видит густую тьму. Естественны метания души. Отчаяние. Равнодушие. Надежда на счастливый случай, который возвратит ему зрение... Потом уставший мозг отключается. Короткий сон — в него падаешь, как в пропасть. Наконец неизбежное пробуждение, неизбежность истины: слепота. Навсегда.

А вот он уже в своей комнате в общежитии. Слышит звуки, которые, кажется, сводят с ума. Где-то вдаль работает шахта. Сменяются идущие на смену люди.

Ворошилов не боится всмотреться в эту ситуацию. Не боится увидеть одиночество и беспомощность молодого и сильного мужчины.

Опрокинул стакан с чаем. Вместо одеколона после бритья вылил на себя чернила. Иногда это вызывает смех. Иногда — спазмы в горле.

Он стесняется посетителей. Легче и проще всего отношения Сергея с телефонной трубкой. «Слушая и отвечая, он забывал о слепоте, как бы уравнивался с собеседником — ведь и тот не видел его».

А еще его изнуряли сны. Во сне он был зрячим: «По узенькой тропинке через ослепительно белое снежное поле, на котором почем-то росли красные и лиловые цветы, к нему навстречу шла... Нет! Это снилось ему прошлой ночью. Он еще свернул тогда с тропинки и, увязая в снегу по колено, шурясь от блеска, торопился нарвать для Ани красных цветов, минуя лиловые. ...И когда он в очередной раз нагнулся, высокий лиловый цветок больно хлестнул его по глазам... Вновь поплыло багровое пламя...»

Во сне краски резки, контрастны. В конце концов, болезненно невыносимы.

Сергей Томилов не раз сам вспоминает об Островском. Но чужой пример не помогает, если ты не в ладу с собственной душой. Тогда чужая трагедия, похожая на твою, — лишь слова. Обычные слова из учебника.

Имя Островского в романе впервые произносит работник районного отдела социального обеспечения Трошин.

«...— Пришел оформить пенсию, а главное — поддержать дух, — скажет он. — Человек, попавший в беду, нуждается в заботе. Ты, конечно, знаешь о Николае Островском. Сколько ему нужно было мужества, самоотверженности, чтобы бороться за жизнь. Ты вдумайся хорошенько, вдумайся в то, как этот замечательный герой со здоровьем тоньше папиросной бумаги создал такие прекрасные книги.

— Я писать не могу...

— Разве только в писательстве заключается выход?.. Писательство не спасательный круг... Не умирать же теперь! Смерть сама придет, не торопись.

— Я и не тороплюсь. Но... чего вы хотите от меня?!

— Нужно пройти комиссию, чтобы определить группу инвалидности. Потом оформим пенсию... Может, за тобой некому ухаживать, тогда мы тебя, браток, устроим в дом инвалидов.

— Дом инвалидов?! Только этого не хватало! Я не нуждаюсь в ваших благодеяниях! Уходите!..»

Трошин не сказал ничего обидного. Он проявляет заботу искренне. Хотя и по долгу службы.

Томилову кажется, что более всего его тяготит неспособность к полноценной жизни. «Кто я, кто? — спрашивает себя Сергей. — Инженер Томилов? Нет инженера! Умер инженер! Осталась только тень... Кто я? Слепой!.. Какое счастье быть человеком! А разве я — человек?.. Я простейшая органическая клетка, способная только ощущать...»

На самом деле, его больше угнетает другое: он не такой, как все. Никогда уже не будет чувства общей работы, общей радости, общего веселья. Он теперь одинок среди людей. И этот круг не прорвать.

Унизительным кажется стремление убедить его в том, что он кому-то нужен. Друг — Николай Улугашев — захочет прийти работать в шахту на участок Томилова, скажет:

— Я, брат, решил принять его по праву наследства... А ноша-то, может, не по плечу, так что твоя помощь потребуется...

— Ты брось эти педагогические подходы! — неожиданно зло прервет Сергей. — Макаренко из тебя хреновый, понял?

Он одинок. Как бы хорошо к нему ни относились, никто до конца не поймет его. Даже при желании никто не поменяется с ним местами. Будут жалеть. Только жалость — это не понимание. Жалости не хочется более всего. Вот и любовь Ани — лишь благородство, самопринуждение. Но рано или поздно он будет ей в тягость. Не может любовь держаться на одной жалости. Не может и дружба питаться только воспоминаниями о былом.

Что же вернет Сергея Томилова к жизни?

Однажды он поймет, что не одинок в своем несчастье. На свете живет около пятнадцати миллионов слепых людей. И жизнь, действительно, не кончилась для них.

## II

Сергей Томилов, как и когда-то сам Ворошилов, попадает в незнакомый ему мир. Сначала этот мир кажется странным, потом — очень интересным. Наконец человек перестает давать оценки — он просто живет.

По-разному окружающие воспринимают слепых. Большинство сострадает им. Иные пугаются. Некоторые загадывают: не дай бог, чтобы со мной так... Кое-кто не обращает внимания... А мастер Илья Поляков, придя работать на предприятие слепых, считал вначале, что «попадет к умственно ограниченному людям». Человек не видит, думал он, значит «у человека не может быть ни правильных понятий о жизни, ни логики в суждениях».

Между тем слепота с древности настигала многих. Слепыми, к примеру, были и гениальный Гомер, и великий арабский поэт аль-Маарри. Слепота не только не помешала им сказать свое слово, может быть, напротив, помогла сосредоточиться на главном.

Конечно, менее всего тут нужна идеализация.

Есть известная картина Питера Брейгеля Старшего, которая так и называется «Слепые». Шестеро незрячих нищих идут по селу, держась друг за друга. Они не знают, что рядом — обрыв. Вот уже упал вниз первый. На лицах остальных — недоумение. Кругом тишина, покой. Только на этих шестерых обрушилась беда.

Картина, которую исследователи считают самой мрачной у Брейгеля, воспринимается как символ. Горький символ отверженности.

В книге А. М. Кондратова «Восстановление трудоспособности слепых» я встретил две поразившие меня цифры: до революции в такую пропасть падали многие — из 300 тысяч слепых работали меньше пятисот человек; остальные шли на паперть, становились бродячими музыкантами, гадали — с помощью морских свинок и попугаев открывали другим их судьбу, но не загадывали свою.

Теперь в нашей стране символ обрыва при слепоте наполнен другим смыслом. Не стоит глгть: слепота не перестает быть трагедией. Но в «обрыв» попадают только те люди, которые теряют в горе самих себя.

Стать незрячим, Ворошилов, как и его герой, вспомнил слепого, встреченного когда-то в поезде. Старое пальто, из-под которого видна рубашка без единой пуговицы. Шляпа с надорванными полями. Темные очки. Безыскусная, едва ли не пошловатая песня:

Вглядиись — пойми, товарищ зрячий,  
Не я дорожку выбрал ту...  
С душою нежной и горячей,  
Я осужден... на темноту.

На бледном, давно не бритом лице нельзя было прочесть ничего, но гитара звучала тревожно. Тревога усилилась, когда в ответ на предложенные деньги человек снова зашел:

Сегодня, милые, совсем не по погоде  
Стремление к дешевому добру,  
Я пел себе, при всем честном народе,  
Я трезв и зол и — платы не беру!..

И Владимира Ворошилова, и Сергея Томилова от обрыва, пропасти спасла работа. Хочу выделить это слово, которое так любил Владимир Сергеевич — работа!

Конечно, труд и труду рознь; бывает работа,



которая превращает человека в муравья, принижает и нивелирует личность. Ворошилов имел в виду другое. «...Нет большего блага, чем радоваться своим трудам», — напомнил он однажды Экклезиаста.

Томилов приходит в общество слепых. Конечно, и тут — свои проблемы, свои острые вопросы. Ворошилов менее всего романтизирует картину — он пишет и о карьеристах, и о пьяницах. Владимир Сергеевич не раз вспоминал тяжелое чувство, возникшее у него после знакомства с предприятием, где когда-то трудились незрячие. Эта горечь появляется и у читателя; привычной, приевшейся человеческой тоской веет от тех страниц романа «Солнце продолжает светить», где описываются смрадные будни пимокатной мастерской. Здесь-то и начинается директорствовать Сергей Томилов.

Страницы книги перевернуть легче, чем страницы жизни. Идет время, вот уже нет маленькой мастерской с затхлым воздухом, вечно пьяными рабочими. Есть новые цехи, современное оборудование, а главное — есть люди, побеждающие свою беду и судьбу.

Романы Ворошилова выделяются в довольно большом потоке произведений, герои которых пытаются преодолеть невзгоды, тот или иной недуг. Как правило, в центре таких произведений одна, пусть и яркая личность. Перед читателями же Ворошилова одновременно проходит много жизней и судеб. Люди, лишенные зрения, объединены здесь в сообщество, в коллектив.

Я вспоминаю сейчас Макаренко, его «Педагогическую поэму», мудрый опыт, который, к сожалению, нередко впоследствии «оказывался», вульгаризировался. Конечно, на первый взгляд наивно сравнивать взрослых, потерявших зрение людей и подростков-беспризорников. Но и то, и другое произведение можно отнести к жанру воспитательного романа. И тут, и там один и тот же принцип «выпрямления» человеческого характера. Через труд, через коллектив.

Да, многих героев Ворошилова «выпрямляет» работа — она придает смысл существованию, она диктует человеку ритм, а затем и образ его жизни. Я думаю не только

о таких персонажах, как бывший спекулянт Арский, ставший со временем преподавателем школы восстановления трудоспособности слепых. Я думаю и о Томилове — именно работа в конце концов формирует эту яркую незаурядную личность.

Разумеется, не может быть «игры» в работу. Гуманность дела не противоречит его серьезности. Владимир Сергеевич сознавал это. В романе «Капля света» читатель найдет примечательный эпизод. Одно из предприятий общества слепых выпускает устаревшую продукцию. Заказчики не ропщут — просто выкидывают часть не нужных им деталей. Заказчики помнят: речь идет о слепых, которые трудятся на четко отлаженных конвейерах, хорошо зарабатывают... От них долго скрывают истину. Но именно незрячие в конце концов протестуют против того, что их «труд превращается попросту в мусор».

Знаю, кое-кто, прочитав произведения Ворошилова, скептически восклицал: все это похоже на сказку, автор — мечтатель и явно выдает желаемое за действительное. Но в данном случае литература легко «проверяется» жизнью.

Скептик может совершить экскурсию на одно из многих предприятий общества слепых. Я начал такую экскурсию с музея завода в Кемерове. Здесь была выставлена продукция, которая давно не выпускается, но которая порой все еще соединяется в нашем представлении с обществом слепых, — щетки, пилы, бумажные коробки, матрацы. Когда-то Сергей Томилов резко восстал против такого «традиционного» ассортимента. Зачем он нужен, если именно слепые могут делать то, что нередко очень трудно для зрячего. У слепых резко обостряется осязание — они, к примеру, прекрасно собирают миниатюрные детали для радиоэлектроники. Там же, в заводском музее в Кемерове, была сложная продукция сегодняшнего дня: она идет во многие страны мира.

Скептик увидит конвейеры и полуавтоматы, по-настоящему передовую организацию труда... А рядом с предприятием — целый городок: большой детский комбинат, несколько жилых домов, построенных общест-

вом слепых, красивые газоны, пешеходные дорожки с заботливо сделанными ориентирами для незрячих. Я не раз приходил сюда — и один, и с Владимиром Сергеевичем. Бывал в гостях у своих новых знакомых, смотрел в Доме культуры «голубые огоньки» и концерты самодеятельности, которой так гордился Ворошилов, листал в библиотеке свежие журналы — необычно толстые, напечатанные с помощью системы Брайля, слушал звуковые книги, записанные на магнитную ленту. Здесь я зачастую забывал о Томилове — думал о Владимире Ворошилове. Жизнь человека далеко не всегда можно измерить цифрами. И все же приведу две — их любил повторять Владимир Сергеевич: когда-то Кемеровское общество слепых выпускало продукции на пятнадцать тысяч рублей, теперь — более чем на десять миллионов. Что цифры! Но я вижу за ними годы: его почти спартанский образ жизни, пятичасовой сон, вечные командировки, планы, о которых он говорил, будто читал стихи, — планы реконструкции старых и создания новых предприятий в Новокузнецке, Белове, Прокопьевске...

Часто спорят о творческом методе писателя: для одних главное их собственное воображение, другие отправляются в дальние командировки — «изучать действительность». Ворошилов же предпочитал простой, на первый взгляд, но, наверное, самый трудный творческий метод: сначала пройти вместе со своими персонажами отрезок жизни, сначала построить эту жизнь, а потом рассказать о ней читателю.

### III

Я начал писать о нем документальную повесть, долго не говорил об этом Владимиру Сергеевичу — приходил к нему вечером, задавал вопросы. Ему нравилось размышлять вслух, я доставал тетрадь, записывал. Потом стало стыдно: обманываю слепого; признался во всем. Он не удивился, скорее профессионально заинтересовался — как и что можно о нем написать.

Я листаю сейчас те старые тетради. Не хочу пересказывать — лучше процитировать

некоторые записи; в них слышится голос Владимира Сергеевича.

*«Когда ослеп совсем, горе все же не было таким беспросветным, как у некоторых моих героев. Не было у меня и такого отчаяния, как у Томилова. Но я писал не автопортрет — собирательный образ. Я хорошо помнил о людях, покушавшихся даже на самоубийство».*

*«Хотите факт для юмористов? У меня пять заместителей. Но это не проявление бюрократизма. С каждым годом работы все больше. Шумит всюду дерево, которое три с половиной десятилетия назад было чахлым саженцем».*

*«Между прочим, у нас на предприятиях прекрасная дисциплина, пьянства среди незрячих почти нет. Потеряв зрение, человек учится контролировать себя. Да, и в этом тоже. Понятно, тут одна из причин...»*

С годами он все больше тянулся к астрономии. Перечитал всю литературу о звездах, изданную для незрячих. Во-первых, очень скучал по небу. Во-вторых, часто думал о вселенной, о мироздании, о тайне жизни.

Как подросток, любил кино. Сразу после войны ходил в кинотеатр. Потом — смотрел телевизор. Кстати, мог легко ликвидировать в телевизоре почти любые поломки, как, впрочем, и другой радиоаппаратуре.

Возвратился однажды домой после составления годового отчета. «Знаете, чему радуюсь? К нам в общество приходит все меньше новых членов. Ведь зрение у многих людей отнимает война».

Долго говорили об одиночестве, о том, что иногда людям не хватает понимания, как не хватает воздуха.

— Одиночество было всегда, во все времена. Но общество редко сосредоточивало на этом внимание. Хорошо, что мы сейчас много думаем об одиноких. От одиночества можно задохнуться, но все зависит от человека — надо самому устанавливать контакты с ми-

ром. А иначе не помогут никакие клубы «Для тех, кому за тридцать». Кстати, вы ведь сами убедились, большинство слепых имеют семьи. Они умеют дышать.

— Человеку мешают мыслить штампы. Привычные стереотипы в понимании мира. Один из таких стереотипов — «мы умнее природы, мы должны ее покорить». Но природа умнее нас. Любопытно, природа вся состоит из «запчастей», ничто тут не гибнет, а ищет замены в другом. Поймешь это, и уже не увидишь трагедии в слепоте — увидишь только новую норму жизни... Но мы консервативны, потому представляем полноту бытия лишь со светом и цветом. А ведь те, кто родится незрячим, не знают ни красок, ни того, что такое горизонт. Он почувствовал, что противоречит себе, своей мечте — прозреть. Добавил: «Конечно, однажды увидев свет, тоскуешь о нем всегда».

Однажды я задал бестактный вопрос: «Почему многие из получивших какую-либо травму хотя бы стать писателями? Неужели считают, что это так легко?» Я специально огрубил мысль — хотел узнать, не только о том, что он думает о других, хотел услышать его рассказ о себе.

Но оказалось, Ворошилова давно волновала эта проблема.

— Действительно, — сказал он, — в литературу идут толпы людей, обездоленных жизнью — безногие и безрукие, слепые, глухонемые; пишут много, пишут часто плохо. Несчастных надо жалеть, однако пожалеем и литературу. Этим я обычно и начинаю беседы с начинающими, повторяю: «Для человека пишущего полезнее капля яда, чем ведро лести»...

Он помолчал. Сосредоточенно думал о главном.

— А то, что люди, получившие травму, начинают писать, естественно. Осмыслять пережитое лучше и полезнее на бумаге. Чтобы стать писателем, необходимы две вещи: во-первых, талант, во-вторых, надо быть личностью. Литературное дарование прорезывается порой неожиданно, личность формируется долго. Корчагин не стал бы писателем,

сложись его судьба иначе. Но он был личностью, а личность хочет себя выразить.

Снова помолчал, вспомнил сказанное. Решил поправить себя.

— Наверное, я слишком резко говорил о графоманах среди инвалидов. Среди здоровых графоманов не меньше, но зато это им непростительно. Человек может путешествовать, наслаждаться природой, а он ночами исписывает горы бумаги. Подумайте о трагедиях в этих семьях — почти неизменно приходит озлобленность, зависть к тем, кого публикуют, ощущение, что сам ты не состоялся. Раздражение, надежды, в которые в глубине души не веришь; так проходят годы, жизнь. А рядом — жена, дети. Не хуже ли это слепоты?

Ворошилов внезапно улыбается. Черты его напряженного лица смягчаются. Он вспомнил другую судьбу. Исключение, которое, по его мнению, подтверждает правило. Исключение имеет имя: Иван Иванович Мясников. Вот уже много лет он пишет роман о работе с правонарушителями. Пишет интересно и неумело. Но литературный опыт приходит, как и всякий опыт. Постепенно, говорит Ворошилов, в написанном все виднее живые лица. Написанное Иван Иванович много раз правит, вновь перепечатывая на машинке. Хотя у него нет руки и давно потеряно зрение. «Верю в Мясникова!» — восклицает с затаенной нежностью Ворошилов. Наверное, при этом он все-таки вспомнил о том, как сам начинал в литературе.

А я встретил Ивана Ивановича в сборочном цехе Кемеровского предприятия. Так как у Мясникова нет руки, заводские конструкторы придумали для него специальное приспособление, ему установили и особую, меньшую по сравнению с другими норму выработки. Меня поразило лицо Ивана Ивановича — спокойное, молодое. Лицо много испытавшего, но не уставшего от жизни человека. Я думал о том, как вечерами — так же молочно и уверенно — он протыкает особым шилом дырочки на толстых листах бумаги: пишет свою книгу.

Ворошилов долго хотел поступить в Литературный институт. Собирался, готовился,



сомневался. Наконец, сомнение победило. Он понял, что институт помешает его работе в обществе слепых. Ворошилов отказался от своей мечты спокойно, без колебаний. Он умел спокойно отказываться от многого.

Но Владимир Сергеевич прошел другой, домашний литературный университет. Он читал по пять-шесть часов ежедневно. Из современных писателей, пожалуй, больше всех любил Валентина Распутина. Говорили не раз об авторе «Последнего срока», записал как-то монолог Ворошилова:

— Почему выросли такие дети у хорошей крестьянки Анны? Почему собираются у изголовья умирающей матери, плачут, а потом, когда мать, впервые увидев за много лет всех вместе, воистину воскресает, дети огорчены: зря летели и ехали, тратили деньги. Как щедро материнское сердце: старуха Анна даже понимает своих детей, даже чувствует

себя виноватой, даже оправдывается и обещает: умру я, умру... Но дети безжалостно уезжают. Откуда такая жестокость у самых обычных людей? Кто виноват? Почему в «Деньгах для Марии» деньги — деньги! — перевешивают жалость большинства односельчан к ни за что ни про что гибнущей женщине, ее малым детям? Распутин ставит вопросы — давайте на них отвечать.

...А в конце войны он перечитал, точнее — прослушал всего Мольера, почти всего Шекспира. И не только потому, что сам писал пьесу. Обострилась вдруг тяга к театру.

Я думаю, Ворошилов тогда учился у драматургов ощущению жизни как праздника, бесконечного действия: меняются декорации, приходят новые актеры — праздник жизни продолжается.

## ДОРОГИ, ПО КОТОРЫМ ХОДЯТ ВСЕ

### I

Его романы логично продолжают друг друга. Я имею в виду не только логику и развитие сюжета — логику развития мысли.

Первый роман Ворошилова «Солнце продолжает светить» пронизывает убеждение автора в том, что человек не может быть одиноким; даже попав в беду, он обязан бороться: с болезнью, несчастием, но прежде всего с собой. Нет ничего предопределенного, пока не сломлен твой дух; а лучшее лекарство от одиночества — работа; так было издревле, так будет и всегда.

Во втором романе «...И не погаснет!» — мысль писателя развивается. Люди должны быть счастливы, снова и снова настаивает Ворошилов. Сергей Томилов теперь не просто занимается интересным делом — он окончательно преодолевает трагическую завершенность судьбы. Он обретает не только товарищей — обретает семью, простые жизненные радости, которые не заменишь ничем.

Почему Ворошилов написал третий роман о незрячих? Конечно, об этом просили читатели, как всегда, не желающие расставаться с полюбившимися им людьми, хотевшие узнать, «что дальше». Однако все-таки не ради этого автор начал роман с теми же героями, но в новую пору их жизни. Владимир Сергеевич был одним из организаторов и участников гуманного, уникального нравственно-социального опыта. Как сформулировать его суть? Писатель пробовал сделать это сам — в своих книгах, прежде всего — в «Капле света».

Сергей Томилов становится здесь педагогом, создает школу восстановления трудоспособности незрячих. Перед нами раскрывается еще одна сторона этой одаренной натуры. Томилов пишет научный труд — кандидатскую диссертацию, в центре которой актуальная для всех времен этическая проблема: как вернуть гармонию человеку, которому врачи не в силах вернуть зрение; как достичь жизненной гармонии, если она окажется утерян-

ной навсегда... На многих страницах этой книги я встречал размышления героя, в которых легко узнавал размышления самого автора.

Если можно так выразиться, это роман о педагогике счастья, о реальных дорогах к нему, может быть, о целой системе воспитания счастливых людей.

Известно: именно с помощью зрения человек получает 75—90 процентов информации о нашем мире. Значит, слепота возводит перед личностью почти непроходимый частокол? Нет, потеряв способность видеть, человек многое может как бы возместить. Интенсивнее работают другие органы чувств — слух, осязание, обоняние; в течение веков люди искали и иные пути «компенсации» слепоты. Вот только один пример.

Давным-давно пытались придумать письменность для незрячих. Об этом можно написать роман — волнующую историю борьбы человеческого духа, прорывающегося сквозь тьму. Буквы мастерили из проволоки, вырезали из дерева, использовали в качестве кода даже обычную бечеву: завязывали узлы, отличающиеся друг от друга по форме. И только с появлением книгопечатания стали делать рельефный, легко осязаемый пальцами шрифт. Было много вариантов. Одну из первых удачных попыток предпринял Валентин Гаюи, основатель парижского института слепых. Однако буквы в его шрифте — обычные буквы латинского алфавита — были очень большими: чтобы прочесть строчку книги, ее приходилось долго ощупывать.

Рельефно-точечный шрифт изобрел Шарль Барбье. Он был офицером: выпуклые точки служили у него военным задачам — были своеобразным шифром, который не случайно назывался «Письмо в темноте». Слепые стали использовать код Барбье, хотя и он оказался неудобен: нужно было обращаться к специальной таблице, слова писались так, как они произносились, не нашел Барбье и обозначений цифр, нот, знаков препинания.

Луи Брайль, создавший прославившую его систему, ослеп в три года: он на себе хорошо чувствовал недостатки всех имеющихся шрифтов для письма незрячих. Знаменитое

шеститочие Луи Брайля поистине универсально: легко «приспосабливается» для многих обозначений, легко ощущается указательным пальцем. Потомки много раз пытались усовершенствовать азбуку Брайля, но неизменно возвращались на исходные позиции; «система» была создана слепым человеком будто в прозрении — как утверждают, сразу и, по-видимому, навсегда.

В день столетия Луи Брайля его останки были перенесены в парижский Пантеон — там похоронены многие выдающиеся люди мира. И все-таки лучший памятник Брайлю — тысячи книг для слепых, ежегодно выходящих на нашей планете. Разумеется, романы Ворошилова тоже читают незрячие. Они и писались по Брайлю: в первом три миллиона, в последнем — шесть миллионов точек.

Обучение системе Брайля — один из главных предметов в школе восстановления трудоспособности слепых. А что же еще? Ворошилов рассказывает об этих занятиях подробно: он не раз бывал в таких школах, пытался понять их проблемы. Главная задача школы — помочь слепому адаптироваться в окружающей среде. А. М. Кондратов приводит в своей книге о восстановлении трудоспособности слепых учебный план школы: скудные строки вбирают в себя драматизм и радость возвращения человека в мир.

Что это за предметы — «ориентировка в пространстве», «самообслуживание и домоводство»? Я знаю об этом не только по научным трудам, не только по книге Владимира Ворошилова. Я знаю слепых, которые одни ходят по городу, причем порой даже без знаменитой трости — по ней мы обычно узнаем незрячих. (Конечно, не у каждого человека могут оказаться одинаковые способности к ориентировке в пространстве, в таком случае слепому поможет дрессированная собака — специальная школа четвероногих проводников работает в Московской области). Я не раз ел торты, пельмени, приготовленные слепыми хозяйками, не раз поражался уюту в их домах. Нередко незрячими были оба супруга: без чьей-либо помощи они делали привычную в быту работу — покупали продукты, готовили, мыли, стирали, шили, сто-

лярничали, одевались, гладили. Всему этому и учат в школе восстановления трудоспособности слепых — теперь через них прошли уже тысячи людей.

Но, понятно, все эти навыки только способствуют тому, чтобы незрячий чувствовал себя увереннее в жизни. Главная проблема, доказывает Ворошилов в «Капле света», — научить человека быть счастливым.

Остановлюсь на этом странном в данном случае слове: «научить». Человек не автомат, его нельзя запрограммировать. Да и не безнравственно ли призывать кого-то радоваться, если ему грустно? Можно научить человека с помощью слуха, осязания «узнавать» предметы; но как научить «перестраивать» свое сердце?

Читая первые два романа Ворошилова, часто вспоминаешь Н. Островского, Макаренко. Читая «Каплю света», я думал о Сухомлинском. Когда-то побывав под Харьковом и Полтавой, где долго работал Макаренко, а потом в Павлыше, где многие годы директорствовал в сельской школе Сухомлинский, я размышлял об удивительном совпадении: в разные годы они жили и искали недалеке друг от друга. Вот так же «недалеке» и педагогические взгляды Макаренко и Сухомлинского, хотя их иногда вольно или невольно противопоставляют.

Коллектив воздействует на личность, принуждает человека «перекроить» свою жизнь. Но нельзя забывать и о другом правиле, с давних времен известном науке воспитания: самое глухое сердце открывается добру, сила добра — редкая по мощности сила. Конечно, это знал и Макаренко, как знали и Песталлоцци, и Ушинский. Но Сухомлинский поставил эту мысль в центр своей работы, она была стержнем, скрепляющим не только научные труды, публицистику — школьное расписание, темы уроков: в Павлышской школе дети писали сказки, на многие занятия первоклассники ходили в лес — узнавали вечную жизнь природы.

<sup>1</sup> Сухомлинский В. Избранные произведения. Киев: 1980, т. 5, с. 478—479.

Когда задумался Ворошилов о воспитательной силе добра? Читал ли он Сухомлинского? Не знаю, не буду гадать. А то, что многое в их размышлениях схоже, неудивительно: люди одновременно изобретают не только машины — параллельно, хоть и разными путями, приходят к одинаковому решению нравственных задач. Вспоминая свои педагогические искания, Сухомлинский писал: «Я понял многое, и среди первых открывшихся мне истин была одна: людлинное воспитание — это творение счастья другого человека». Сухомлинский работал с детьми, в каждом ребенке он видел сложную личность, сложный, находящийся в процессе становления мир: в этом мире есть и своя, неповторимая гармония, но и есть и трагизм. «Антипод счастья — страдание», — писал Сухомлинский. — Человек несет свои страдания к другому человеку в надежде облегчить боль души... Я убедился, что человеческие страдания — горе, печаль, обида, смятение, одиночество, если они остаются непрочитанными воспитателем и неразгаданными им же (...), делают невозможным воспитание — указание такого личного пути к счастью, когда, достигнув и вкусив счастья для себя, человек прокладывает путь к счастью других, создает всеобщее счастье»<sup>1</sup>.

Здесь кратко выражена программа, которой руководствовался в работе педагог Сергей Томилов. Педагогика добра трудна: она требует от воспитателя не только и не столько знания методики, сколько напряжения души. Но эта педагогика единственно возможна, если речь идет о людях, надломленных горем.

Вот первые дни работы школы восстановления трудоспособности слепых. Прибывают все новые и новые ученики.

Председатель колхоза, объезжавший на мотоцикле поля и попавший в аварию.

Завмаг сельпо: «стал приходиться домой пьяным, дебоширил. Жена не вытерпела, решила поучить, вроде бы слегка стукнула поленом по голове...»

Пятнадцатилетний лыжник упал, наткнулся на палку...

Кто-то слеп еще с войны.

Кого-то настигла глаукома.



Всех этих разных людей Томилов и его сотрудники приводят в школьные классы. Никто не произносит громких слов о мужестве — кажется, тебя учат только необходимому. В необычных классах — наглядные пособия, на которых выпукло представлен мир: «Виды животных», «Транспорт», «Макеты зданий», «Рельефные географические карты». А рядом — настоящие полки железнодорожных вагонов, сиденья легковой машины, автобуса, трамвая. В кабинете домоводства стоят электрические плиты, газовая печь, кухонный инвентарь. Во дворе школы есть тротуары с деревьями и даже... стенами домов, участки шоссе, пешеходные дорожки, переходы — все напоминает улицу.

И все же главное «наглядное пособие» школы — это жизнь. Для ее изучения не нужно далеко ходить — нужно просто познакомиться со своими товарищами по школе: заботясь о них, спасаешь себя. Это выходит естественно. Не по принуждению — по необходимости души.

Люди учатся сами и одновременно учат других. Бывший летчик Колчин помогает бывшему врачу Трошиной. Сердце учительницы Ильиной отогревается в заботах о мальчике Олеге, жестоко травмированном судьбой. Любопытно: слепые нередко приходят на помощь зрячим. Ворошилов проследил в своих книгах несколько таких судеб. Он рассказал о девушке Тане: одиночество точно щепку бросало ее от одного берега житейского моря к другому, привело к сектантам. Слепые люди помогли Тане взглянуть в лицо жизни; она вышла замуж за незрячего — заведующего клубом Даниила Кулачкова, стала работать на предприятии общепита слепых.

Своеобразная цепочка добра открывается во всех романах Ворошилова. А я видел ее в собственной жизни Владимира Сергеевича, в жизни его друзей: один человек протягивал руку другому и в этом в конце концов находил счастье.

— Что такое счастье? — переспросил он меня. — Каждый понимает это по-своему. И, кстати, по-разному в разную пору жизни. Юность бывает трудна, но потом часто ка-

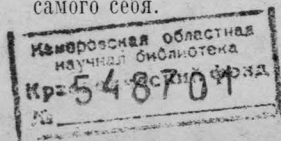
жется радостной. Иногда летишь куда-то, дни проносятся бестолково, а оглянешься: это и было счастье. Я не раз думал над странным утверждением Пушкина: «На свете счастья нет, но есть покой и воля». Тут не пессимизм — точное знание: все уходит — молодость, страсти. Но ни о чем не жалеешь, если жил в мире со своей душой, не спорил с человеческим в себе. А это возможно, прежде всего, когда делаешь людям добро.

Конечно, науку добра изобрели не Томилов и не Ворошилов. Ее по-своему формулировали еще создатели Библии, основоположники марксизма. Поколения людей передавали идею добра как эстафету, как нравственный завет. Кажется, все так просто. Ближе к людям, ближе к чужим заботам. И ты обрешь то, что ищешь. И все-таки наука добра не проста — надо многое преодолеть в себе. Мне показались почти символическими уроки в школе Сергея Томилова: отрывая от тяжких мыслей, учеников выводят учиться ходить на обычные городские улицы. Эпиграфом к этим урокам можно было бы взять слова Шатобриана, которые так любил повторять — опять-таки Пушкин: «Счастье можно найти лишь на проторенных дорогах».

## II

Я хочу понять логику его пути, восстановить ускользающую нить размышлений о жизни и воспитании. И все время возвращаясь к нашим беседам, листаю свои беглые записи.

Когда-то поразило: он был удивительно чуток к интонации. Достаточно было отвлечься, о чем-то задуматься, даже не прерывая речи, Ворошилов вскидывал голову, задавал вопрос. Так же хорошо Владимир Сергеевич слышал голоса и в приходивших к нему письмах — в похожих, на первый взгляд, словах различал то боль, то праздное любопытство, то — фальшь... По этой причине не любил он многие письма от заключенных: нередко находил в них желание автора покрасоваться, может быть, невольно обмануть и другого, и самого себя.



В литературе Ворошилову было работать по-своему трудно. Иногда не писал годами, иногда, словно что-то прорывало долгое молчание, не отходил от стола часами — за два года создавал большой роман. Владимир Сергеевич рассказывал мне о сложностях, которые незнакомы зрячему писателю: идут годы, меняется мода, меняется интерьер не только квартир — городов; художник должен все это хорошо знать. Были и неудобства, связанные с самой «технологией» творчества: отдельные фрагменты текста приходится переставлять, заменять другими, потому нужно постоянно иметь перед глазами в деталях выполненный чертёж огромного здания — книги. Глаза Ворошилову заменяла память, и от постоянного напряжения часто болела голова.

И все-таки писательская работа была для Ворошилова радостью. Он не просто исполнил юношескую мечту — за письменным столом перепроверял собственную жизнь, приходил к важным решениям. Ему нравилось и перевоплощаться в героев — примерять чужую судьбу; конечно, это потруднее, чем примерить костюм — надо «вжиться» в чужой смех и слезы, чужую любовь и отчаяние. В такие минуты Ворошилов вспоминал свое несостоявшееся актерство, а также свои многочисленные роли на самодеятельной сцене. Кстати, он говорил мне, что и на работе, за председательским столом в обществе слепых, ему не раз пригодились уроки, полученные до войны в вечерней театральной студии в Новокузнецке. Почувствовал мое недоумение, объяснил: каждый день приходится решать десятки дел, встречаться со многими людьми, иногда у тебя плохое настроение, но этого никто не должен заметить. Каждый день он сталкивался и с горем, понимал: бестактно бурно выражать сочувствие, достаточно просто пожать руку, помолчать. Конечно, жизнь не театр, и дело не в том, что Владимир Сергеевич помнил, сколь красноречивой на сцене бывает пауза — многозначительнее многих диалогов. Дело в том, что как педагог и руководитель он считал необходимым «выстраивать» свое поведение.

Ворошилов очень редко говорил о фронте, еще реже — о себе на фронте. Это шло от

скромности, от уважения к погибшим и живым героям; себя он героем не считал. Но однажды, когда мы вели речь о его книгах, Владимир Сергеевич обмолвился: «Летчик Колчин — это я сам, автобиографично все, кроме неурядиц в личной жизни». Потом он припомнил многие эпизоды, которые легко выдумать — трудно прожить. Сейчас я перечитал страницы романа, посвященные Колчину — они воспринимаются как воспоминания автора, как поздно написанный дневник. Здесь подробности первых месяцев войны, горькое недоумение юного летчика: придется бомбить свои деревни, бывший наш аэродром — теперь там враг; есть и почти протокольное описание того, последнего боя, неравной схватки с «мессершмиттами». Так же, как и Колчин, Владимир Сергеевич очнулся через несколько дней — партизаны следили за ходом боя, видели, как он спрыгнул на парашюте, принесли в свой лагерь. На лице была повязка — сильный ожог. Чаще других, кроме фельдшера, к Ворошилову приходила девушка-связистка, они о многом говорили; вскоре девушка погибла на задании. Когда подошли наши войска, его передали в госпиталь. По-моему, Владимир Сергеевич всегда помнил осенний лес сорок первого, землянку, заменявшую лазарет, хмурых людей — недавних колхозников, ставших партизанами, только что начавших свой тяжкий путь к победе.

В ту, отдаляющуюся теперь пору наших встреч с Ворошиловым я преподавал в Кемеровском университете. Мы говорили с ребятами о современной литературе, в семинаре по критике рождались статьи о произведениях, зачастую только что появившихся в журналах. Как-то одна из студенток должна была делать доклад о романах Ворошилова, и я привел весь семинар в общество слепых — пусть сами сравнят жизнь и книгу. Ходили по цехам, знакомились с рабочими, долго говорили с Владимиром Сергеевичем. Потом, уже на занятии в университете, долго спорили, задавали друг другу «трудные» вопросы. Случайно у меня сохранились листки, где я записал некоторые высказывания ребят.

«Я смотрела на слепых и думала: а смогла бы я, подобно Ане — выйти замуж за незрячего? Вроде да, и... нет. Нужна любовь — непридуманная, настоящая. Выдумашь — погубишь и чужую жизнь и свою» (Вера Маркова).

«Томилов, потеряв зрение, не только сам возрождается для новой жизни — помогает возрождению других. Но мне кажется, этому обновлению души как раз и способствует его забота о многих людях» (Сергей Лепихин).

«Мы с Сусанной Симонян долго спорили об образе Ани Тиховой. Почему говорят, что она сильная личность, совершила подвиг? У Ани есть любовь, дети, цель жизни, интересная работа. Лучше посочувствуем одиноким женщинам, которые всего этого лишены. Вот они как раз мужественно преодолевают пустоту своего существования» (Вера Крюни).

«По-моему, в жизни есть известная черта между миром слепых и зрячих. Эту черту надо переступить — мы, многому можем научиться у слепых и прежде всего — их умение не сдаваться тьме» (Светлана Писничевская).

Одна девушка — Неля Прянишева — наивно и бесстрашно поинтересовалась у Владимира Сергеевича: «А может быть, человек с физическим недостатком способен на большее, чем здоровый?»

Я боялся, что вопрос возмутит Ворошилова, но он спокойно ответил:

— Я бы сказал иначе: каждый человек способен на многое. Только часто не знает этого. И не пытается узнать. А несчастье мобилизует все наши силы.

Вспоминая потом эти слова Ворошилова, я вспомнил многих людей. По Дому культуры Кемеровского общества слепых меня водила Вера Петровна Еремина — красивая, модно одетая, уже немолодая женщина. Она остроумно комментировала увиденное нами, непосредственно знакомила меня со своими товарищами. Только потом я узнал: Вера Петровна слепа с полутора лет; она училась на филологическом факультете Ленинградского университета, работала в школе, вышла замуж, теперь — более четверти века — хозяйка До-

ма культуры. Я не раз встречался с Анной Максимовной Рабец — она тоже не видит с детства, но стала адвокатом, написала и защитила кандидатскую диссертацию, преподает в университете.

Я думал и о людях, с которыми не был знаком лично, — по-новому осознал их известный всей стране подвиг. Пытался понять творческую лабораторию слепого архитектора Александра Зотова и скульптора Лины По. Представлял, как Владислав Титов, потеряв после аварии в шахте обе руки, зажимал во рту карандаш — писал свою повесть «Всем смертям назло». Перечитал и книгу психолога О. И. Скороходовой, идущей по жизни во тьме и мертвой тишине: очень рано Ольга Ивановна лишилась зрения, а потом и слуха. Я перебирал в памяти судьбы, биографии, снова и снова соглашаясь с Ворошиловым: человек способен на многое; только мы почти совсем не знаем себя.

### III

Работать и верить в добро, добиваться его победы — простое и такое сложное жизненное кредо Ворошилова.

Его романы построены на резких контрастах. Мне кажется, он делал это сознательно: жертвовал полутонами ради утверждения важной для себя мысли. Свет и тьма, слепота и прозрение. Понятия эти особенны для героев Ворошилова, они воспринимаются не только в прямом смысле — становятся символами в раздумьях людей о жизни.

«Не люблю, когда нас называют слепыми. Мы незрячие. Мы не видим света, но большинство из нас хорошо видит жизнь. Среди вас гораздо больше слепых, не замечающих мира». Кажется, я слышал эти слова Ворошилова, когда читал в «Комсомольской правде» письмо одного студента из Москвы. Я писал в те дни о Владимире Сергеевиче и подумал: «эти строки вполне могли быть адресованы автору романа «Капля света», более того — письмо объясняет редкую на сущность его книг.

Мечущийся в поисках истины очень симпатичный в своем признании молодой чело-



век, назвавшийся К. Н., никак не мог понять, что же с ним происходит. «...все есть у меня, — писал студент, — живу в новом районе, в хорошей квартире, есть телевизор, магнитофон, фотоаппарат, одет не хуже других, учусь в институте, который сам же и выбрал и в который всегда стремился, есть родители, которых очень люблю. Все есть у человека, а ему плохо — тоже обычная драма жизни. Человек кажется другим веселым и остроумным, но самому ему хорошо известно: за внешней оболочкой веселости — «тоска и пустота». Почему? К. Н. серьезно пытается ответить на этот вопрос, пытается понять себя: «Всю свою пока еще небольшую жизнь любил одиночество. Да и сейчас еще люблю. Но раньше было это «одиночество по желанию», что ли. Имелась возможность выйти из него, было с кем пообщаться, если одному становилось тягостно».

Жизнь принесла К. Н. распространенное испытание юности: «Сначала потерял любимую девушку, которую бесконечно любил и для которой жил, потом лучшие друзья оказались подлецами. В довершение ко всему стал терять веру в людей. Из одиночества как излюбленного времяпрепровождения попал в одиночество буквально безвыходное».

## ВЫБОР

В романе «Капля света» я и в самом деле нашел ответ на вопрос, заданный мной когда-то Ворошилову.

«Свет, здравствуй!» — называется последняя часть книги. Сергей Томилов получает здесь возможность прозреть. Это менее всего похоже на чудо. Хотя можно сказать по-другому: это «обыкновенное чудо» любви. Жена Томилова, Аня, становится глазным хирургом; она возвращает зрение многим, но все время помнит об одном человеке, ради которого в юности изменила профессию, закончила медицинститут.

Романтическая история? Но Владимир Сергеевич рассказывал мне, что такой случай был в жизни: молодая женщина из россий-

И вот жизнь кажется К. Н. бесконечным полем, до ближайшего жилья не дойти, хотя кругом огоньки домов: «...В городе столько людей — а все чужие. Иной раз увидишь такого человека хорошего! А как подойдешь? Люди в городе просто не привыкли к такому «уличному» способу знакомства. Попробуйте заговорите с человеком на улице о чем угодно, кроме как о месте расположения чего-либо, времени и т. п. От вас шарахаются! Вот и получается, что в такой массе людей я, в сущности, одинок. Сколько еще таких же одиноких, как и я, мучаются от своего одиночества. Ведь человек тогда лишь человек, когда светит и греет своим существованием не столько себе и себя, сколько других».

В письме К. Н. есть противоречие: он сам понимает, что человек не может жить только для себя. Понимает: надо сделать шаг вперед из своей одинокой «благополучной» жизни. Шаг навстречу людям. Только как сделать такой шаг — К. Н. не знает.

Я хотел написать студенту, может быть, послать ему книгу Ворошилова. Но тут увидел примечание редакции: К. Н. не оставил своего адреса. Он не решился даже на это: открыв свое сердце, предпочел остаться «одним из многих».

Сколько городка прошла своими небольшими, но твердыми шагами это «поистине межпланетное расстояние» от мечты до реальности, от работы в школьном классе до искусства хирурга. Легко сказать! Трудно просто представить: дети, учебники, стирка, экзамены, полубессонные ночи... Мечта была рассчитана не на годы — на десятилетия.

Итак, Сергей Томилов снова в больничной палате. Снова операция. Удачная. Томилову уже почти пятьдесят. Уже прошли годы во тьме. Уже позади сомнения, боль, отчаяние. Уже обретена любимая работа. Уже собственные дети стоят на пороге взрослой жизни. И вот родной голос — голос жены и врача — буднично сообщает: «Полежишь, отдохнешь

часа три-четыре и можешь смотреть телевизор». И он понимает: «Сказано не в шутку, а всерьез».

Задумаемся о том, что произошло.

Разумеется, зрение возвращено лишь частично, и существующие таблицы определить его не смогут — так оно мало. Но это уже не тысячные доли — сотки! При таком остатке зрения можно ходить одному, различать лица людей, видеть цвета... Сергей стоял в палате. И это уже был не сон. То, что сейчас видел он, было слишком устойчивым, реальным, осязаемым. Он попробовал шагнуть и побоялся. Видны ноги, пол, и теперь к этому надо привыкать, теперь нет черной пропасти. Есть земля и он. Сергей все-таки шагает и не верит. Нога становится на пол, подчиняется зрению, расчету, контролю. Он видит стену и, не доверяя глазу, щупает ее. Стена. Снова осматривается — кровать, стол, окно, за окном — небо... «Неужели вижу?...» — спрашивает он кого-то там, за стеклами окна. Хочется смеяться, как ребенку, переполненному радостью.

Открылась дверь. Это он увидел, а не только услышал. Знакомое лицо. Память сохранила давний отпечаток: черные волосы, черные брови, белая кожа, а глаза карие, родные».

Я с волнением читал эти главы романа — они пронизаны током собственной, нереализовавшейся мечты автора.

Потом Томилов откроет для себя многое. Вернется в мир и — не узнает его. Не узнает дом, где жил, дорогу, по которой ходил. Чтобы обрести ориентировку, придется снова закрывать глаза.

Он впервые увидит детей. Вглядится в лица постаревших друзей. Наконец, посмотрит на себя в зеркало: «Поредевшие волосы, а на висках словно пылинки мела — седина. Сергей подмигнул зеркальному близнецу. — Ну что, наконец, встретились? Здравствуй! — Отражение улыбнулось. Сергей договорил ему: — «Долго, браток, тебя не существовало! Кланяйся Ане, она нас с тобой свела. Постараемся больше не расставаться».

Он видит! Но в жизни почти за все приходится платить тяжелой ценой: малейшие

физические, а главное, нервные перегрузки могут снова вызвать мрак; Томилов должен отгородиться от реального мира реальных забот, должен бросить работу.

Перед героем выбор. Выбор по-своему неожиданный, жестокий: быть зрячим и пребывать в духовном вакууме или снова вернуться во мрак, но при этом остаться самим собой.

Герой выбирает второе. Единственно возможный для него вариант судьбы.

Еще раньше тот же выбор совершил автор.

Снова скажу то, в чем не сомневаюсь: Ворошилов писал о своем герое, но, конечно, мысленно видел себя. Это не Томилов, а он, как экскурсант, придет на предприятия, которые создавал. Это он так же будет сидеть в мертвой тишине квартиры: дни, отличающиеся только листками календаря; завтрак, обед, ужин; главные события — телевизор, прогулка; молчащий телефон — его покой, видите ли, нужно оберегать; располневшее унылое лицо все в том же зеркале...

Нет, этот мир, похожий на мир аквариума, был не для него.

Я хорошо помню Владимира Сергеевича в последние годы, последние месяцы его жизни.

Мысли Ворошилова были заняты строительством нового цеха Кемеровского предприятия — строительство срывалось, постоянно надо было что-то улаживать, согласовывать, доставать. Ходил по инстанциям, ему не отказывали, обещали, но трудности называли «объективными» — пришлось долго бороться.

По телефону его можно было застать редко — все в отъезде: то в Москве, то в каком-нибудь поселке или городке области, куда его приводили дела или чье-нибудь отчаянное письмо. Однажды бросил, отложил даже самое срочное — отправился по местам своих старых боев. Наверное, сам почувствовал необходимость вернуться в ту — первую свою жизнь.

В этой спешке, этой бесконечной гонке он начал новую вещь. Не любил рассказывать, о чем пишет, только коротко пояснил: опять

герои незрячие, горе приводит их к сектантам...

Его шестидесятилетний юбилей прошел весело, однако Ворошилов был, очевидно, сосредоточен в те дни на жизни своей души — не стеснялся высоких слов, которые говорили о нем, а сам отвечал необычно серьезно — будто подводил итоги, хотя, понятно, совсем не думал о скорой смерти.

Вспоминая сейчас свои последние встречи с Ворошиловым, вижу его с годовалым правнуком на руках. Странно — они были очень похожи, особенно почему-то улыбкой. Доверчивой, ясной.

Еще вижу его за городом: зимой — в скромном дачном домике, поднимающим весело чарку, подхватывающим сразу любую песню; потом — в утреннем лесу, отважно и молодо закинувшим голову к небу.

Слово человека порой оказывается насмешливо-жестоким — к нему самому. За несколько дней до смерти Ворошилов выговаривал нашему общему товарищу, пожаловавшемуся на сердце: «Эх вы, молодежь! А у меня мотор железный».

Железных сердец не бывает.

Он умер в пути. Наверное, даже не поняв, что умирает. Он заснул в машине, возвращаясь из командировки. И не проснулся.

Ранней весной на старом городском кладбище я вдруг услышал, что кто-то сказал о Ворошилове: счастливая смерть.

Невольно поправил про себя: счастливая жизнь! Я думал про тот яркий тревожный свет дерзания, который всегда освещал его путь.

И еще подумал: а как пройдем мы отпущенные нам годы? Будем ли так же счастливы, так же правдивы перед жизнью? Не заблудимся ли во тьме суетливых дней?



## Валерий Зубарев

\* \* \*

Восток плеснул кармина  
на ярмарку весны,  
и лужи, как дельфины,  
повсюду веселы.  
Девчонка так восходня!  
Старушка так стара...  
Я раскручу сегодня  
все Завтра и Вчера!  
Чтоб день, срывая фортки  
с корявого гвоздя,  
у тополей в подкорке  
сознанием гудя,  
переполняя устья,  
ликуя и звеня,  
вошел в глаза и уши  
и раскрутил меня!..  
Чтоб жарил на гармонии  
Петух на небосклоне,  
чтоб, красками трезвоня,  
кружился я легко  
с леском на терриконе,  
с ростком на полигоне,  
с девчонкой в балахоне  
и бабушкой в трико.

### ВЕЛИКАН

Хоть и рос ты, великан,  
не по дням, а по векам,  
колыбелька голубая  
под тобой уже трещит;  
колыбельку огибая,  
в небесах луна пищит.

Богатырские игрушки —  
это сила! Это да!..  
В богатырской погремушке  
притаилась сверхзвезда.

Вглубь — глубоко, вдаль — далёко  
смотришь, нахлобучив лоб,



через два недремных ока —  
микроскоп и телескоп.

...Ищешь ли в бескрайне малом,  
в бесконечно ли большом;  
заедаешь водку салом  
или булочкой боржом;  
оглушаешь матерщиной  
или рифмой...— ты велик.

Разве перед бормашиной  
жалок твой раздутый лик?

Пусть в зрачках твоих опаска  
и разволновалась грудь,  
но измятая повязка  
на щеке — как Млечный путь.  
Нёбо жаром полыхает,  
в зубе молния сверкает!..

### ТВОРЕЦ

Я обиваю двери дерматином...  
С тоскою о гвозде декоративном  
я гвоздики обычные беру,  
их в кнопки канцелярские вставляю,  
свою жену смекалкой умиляю,  
чем приобщаю к миру и добру.

А между тем успех мой незаконный,  
за ним не я, а мебельщик знакомый...

Ах, старина!.. Ни слова, старина.  
Кто не кривил душой по праву мужа,  
который испытал, что вдвое хуже,  
когда грызут и совесть и жена?

Я тоже ни гу-гу: держу экзамен  
не как поэт, а как домохозяин.  
А дай мне Слово — мог бы сотворить  
вселенную!.. Увы. Небесный полог  
прикнутолен между потолком и полом,  
и гвоздь в зубах мешает говорить.

Но вот зажглось ярчайшее из ярких  
созвездие из кнопок канцелярских...—  
и в девушках из вечной глубины  
победно улыбнулись губы Евы  
и дали знак, что и созвездье Девы  
не прочь бы стать созвездием Жены.

\* \* \*

Живу, считай, на гребне мира:  
моя бетонная квартира —  
на самом верхнем этаже.  
И голубь, обалдев от жира,  
грозит в окно вцепиться — вира! —  
на неуклюжем ви-ра-же.

Лишь птицы с дикими очами  
бесшумно небо ворошат.  
(Они ли в снах моих шуршат,  
как мыши, чуткими ночами?..)

Так думаю, когда с краями  
в душе... Светло и высоко!  
Так думаю, когда с друзьями  
пью не парное молоко.

Приходит друг... уходит друг...  
и снова не хватает рук:  
посуду брошу убирать...  
и пол продолжу подтирать...  
и нечем душу обнимать...

## ОГОРОДНАЯ БЫЛЬ

### I

И в захолустье есть очарованье,  
глядишь, глядишь, а глаз не устает.  
Ведь улочка — корявая, кривая —  
естественно, как дерево, растет.

Здесь лето вьется хмелем и горохом,  
укропом пахнет, свежим огурцом.  
И пугалом гордится огородным,  
хотя затылок путает с лицом.

Повизгивают в стайках поросята.  
Сметает с треском бита городки.  
Азартные, как малые ребята,  
здоровые ликуют мужики.

Когда игра, играют здесь до пота,  
в работе отдыхают от игры.  
В работе отдыхают от работы...  
Оттуда, где надшахтные копры,

идут домой, могуче и устало  
лопатками литыми шевеля...  
И пальцы в точках угля и металла  
окрашивает зелень и земля.

### II

Здесь и поныне здравствует мой дядя.  
И выглядит совсем не стариком.  
Толкует о коровке, о рассаде,  
хотя всю жизнь работал взрывником.

И всласть смакуя огородный воздух,  
твердит, что даже больше, чем людей,  
растения он любит и животных,  
особенно собак и лошадей.

И бабушка моя не раз, бывало,  
о прежнем вспоминая нехитро,  
иссохший перст торжественно вздымала:  
«А все-таки счастливый наш Петро!»

Он-де в ночном бывал, поездил вёршнем...  
Глухой платок спускала с головы

и бормотала о своем, о внешнем...  
Потом опоминалась вдруг: «А вы!..»

И охала с такой же древней бабкой,  
что с той поры, как уголь здесь нашли,  
хозяйство стало для сынов забавой,  
а внуки — те и вовсе отошли.  
«Хоть и Петро...» — и смолкнет виновато...

### III

О дяде говорила вся родня  
не потому, что кровные деньжата  
он вбил не в мотоцикл, а в коня.

Но убыл конным, а вернулся пешим.  
И смерклось не совсем как на беду.  
Соседи к окнам: «Петр! С каким он лешим?  
Кого это он тащит в поводу?»

Ну, чудеса! Не конь, не жеребенок,  
а ростом чуть поболее козла...»  
И грохнули: «Ах, черт ему ребенок!  
Осла живого приволок. Осла!..»

На смех и гомон выскочила тетя.  
Махнул ей и во всю-то ширь лица  
заулыбался дядя: «Мотя! Мотя!..»  
Но тетя Мотя не сошла с крыльца.

«Ты не пугайся, Мотя, это ослик...»  
Молчала тетя Мотя на крыльце.  
А дядя ей толмачил: ушки, хвостик —  
с метелочкой к тому же на конце.

«Что конь! Коня я, мать, продал на рынке».  
Сказала тетя Мотя: «Погоди...»  
«А это диво сторговал в зверинце...»  
Сказала тетя Мотя: «Уводи».

И он увел... Не со двора, а в стайку.  
В пробой неторопливо вставил штырь.  
И выдержал бы не одну атаку.  
Но ослик заревел на всю Сибирь.

### IV

Смолил хозяин до утра сигарки.  
Ломали крылья куры, ошавев.  
И скорбный бунт в заезде зоопарке  
устроило зверье и царь их — лев.

Переложив тоску свою ночную  
на душераздирающий хорал,  
кто Африку, кто Азию родную,  
кто просто миг свободы призывал,—

лесок ближайший, где клыкам свобода  
и где без человеческих оков  
ее уравновесила природа  
свободой избавляться от клыков.

### V

И сдался дядя. Утром без тянучки  
в усадьбу закадычного дружка  
(поскольку у того жена в отлучке)  
решил препроводить бунтовщика.

И здесь бы мямлил: «Ослик, хвостик, ушки...»  
Но своего помог ему достичь,  
величиной всего-то в две чутушки,—  
зато какая сила! — магарыч.

У тети в горле булькало от счастья...  
А лихо во дворе орет: «Петро!  
Ты, Петя, друг, но хоть умри сейчас же,  
а забирай горластое добро.

Уж я ли с ним не мыкал, не кумекал.  
К соседу — тот и даром не берет.  
В зверинец — растуды его, уехал.  
На рынок — потешается народ».

### VI

И дядя бы не сбыл товар сугубый,  
хотя базар — за ним готов гурьбой.  
Да выручил цыган золотозубый,  
в бостоновом костюме и с серьгой.

«Вы детям покупаете игрушки.  
Я покупаю — ветерок в ушко...»



С неделю отзывался дядя: «Ушки...»  
И жил не тяжело и не легко.

К работе поостыл он и к животным.  
Твердила тетка про цыганский сглаз:  
«Сурочил, дьявол. К бабке б надо, воском...  
Задумываться стал... И гонит с глаз.»

Он чугунеет, на нее не глядя.  
А шевельнется — и она за шаль.  
Жалел я тетю. И жалел я дядю.  
...Но ослика сильнее было жаль.

Я видел, он однажды к магазину  
(как выводок галдящих воронят),  
уже зимой глубокой, в морозину,  
подвез в тележке кучу цыганят.

Стоял, дрожал. Горела, но не грела  
фартовая цыганская звезда.  
ЗаиндеVELO то, что в жилах пело...  
С тех пор его не видел никогда.

И только дух с ослиными ушами  
мерещился сквозь мельтешащий снег...

## VII

А как же дядя? Аж под небесами,  
раскатываясь, глохнет дядин смех.

А вот и сам. Присел над конурою.  
Пылающий, как мальчик от игры.  
Кричит: «Данил Данилыч!» — и стрелою  
плюгавый пёсик шаст из конуры.

Смеялась цепь над лапами кривыми.  
А дядя через силу проронял:  
«Данил Данилыч!.. Я на это имя  
первейшую овчарку променял...»

И здравствуй, я сказал, и до свиданья.  
Но он из рук не выпустил боков.  
Гремел: «Данил Данилыч!» — приседая...  
Порхала тишина из облаков.

Не раз под ними зверь звенел цепями,  
не раз звенел цепями человек...  
Молчи, душа с ослиными ушами,  
Не мельтеши, одушевленный снег.



# ЧЕРНЫЙ МАЛЬЧИК И БЕЛОЕ ОБЛАКО

ПОВЕСТЬ



— Здравствуй, дочка, — притворив за собой дверь, Михайловна скинула у порога валенки с надетыми на них калошами.

— Здравствуй, мама. Проходи... Ой, да не разувалась бы — мыть собираюсь. — Ольга суетливо выступила из суконных в клеточку тапок. — Надень-ка тепленькие, а то остудишься, я ведь только затопила.

— А сама-то?

— Босиком не останусь. — Ольга вызволила из-под стола старые — оба «есть просят» — не женского размера шлепанцы. — А на улице-то холодина. Это что же такое!

— Не удивленье, если ночью и снег выпадет. Старики говорят, зима нынче ранняя будет.

На табуретку возле кухонного стола Михайловна опустилась медленно, морща переносье: с утра разболелась поясница — к непогоде, верный признак.

— А Игорюшка-то где? — положила на стол шестистый целлофановый пакет с ирисками.

— У Калитиных остался. Сегодня мультики показывают. Про слоненка, который обезьянке приветы носил... Балуеть ты его, мама, — Ольга кивнула на пакет с конфетами.

Михайловна ничего не ответила на этот уже не в первый раз высказанный укор. Однако молчала не потому, что согласилась наконец с Ольгой: не за гостинцы-де должен любить внук бабушку, а за то, что она — бабушка. Михайловну кольнули слова «у Калитиных остался». Значит, опять Ольга ходила к соседям одолжить ведро угля — свое-

го нет. И телевизора своего нет. Да, считай, ничего нет. Комната вон какая хорошая — просторная, светлая, а жильем и не пахнет — пусто, как на вокзале.

Михайловна сдержанно вздохнула, спросила нерешительно:

— Ну, съездила?

— Съездила, — сказала Ольга вдруг поблекшим голосом. Поставила на плиту чайник, поежилась, запахнула на груди вязаную кофту, прислонилась спиной к холодному еще обогревателю.

«И что выездила?» — спросила старуха утомленным взглядом.

— Следовательно сказал, что по статье или год тюрьмы или штраф. Как суд посмотрит.

Михайловна печально покивала, жевнула губами, сгорбилась, будто на плечи ей легла тяжесть, и замерла, дышать, казалось, перестала.

— Папа как? — спросила Ольга.

— Вроде полегчало после таблеток, что ты принесла. Но не встает. Левая, говорит, нога деревсенеет. — Михайловна вздохнула, словно всхлипнула. — Без ножа он, сукин сын, режет отца. — Мельком, робко взглянула на Ольгу, провела ревматически скрюченными пальцами по брови и виску. — Я ведь, Оленька, с наказом от отца, — выдержала паузу: с духом собиралась. — Говорит, мол, пусть Ольга завязывает свое горе веревочкой, собирает Игорюшку и сегодня же переходит к нам. Хватит, говорит. Ольга нам — дочь, а Витька — охломон, измыватель и конченный человек. Осудят — туда ему и дорога. А

явится, говорит, и на порог не допущу. Хватит! Так, говорит, иди и скажи. Вот я, Оленька, и сказала. От него и от себя.

Ольга поверх головы Михайловны с грустью посмотрела в окно, за которым угасал грустный осенний день. Зябко поежилась, спрятала ладони в узкие рукава кофты.

— Нет, мама. Мы останемся здесь.

Михайловна, предвидевшая такой ответ, подобралась. Заговорила решительнее:

— Дак ведь ни дров, дочка, ни угля. Окна вон худые. А дело-то не к лету. А кто поможет? Отец слег, я возле него топчусь. Еле топчусь, Оленька.

— Нет, мама,— повторила Ольга.— Мы останемся здесь.

— Судьбу, что ль, испытываешь? Дак сколь можно-то? До каких, спрашиваю, пор?

Ольга переступила с ноги на ногу, поежилась.

— Не будет у вас, дочка, подобру-поздорову. Видно, уж так ему на роду написано — катиться под гору. А у тебя ребенок на руках. Об нем думать надо. Пьяные-то отцовы постановки ему даром не пройдут. Мальчонка мочиться под себя стал — думаешь, просто это? Сам, говорю, пропащий и вас губит...

— Пропащих людей, мама, не бывает, — с нетерпимостью, с какой повторяет уже не раз, но тщетно говоренное, возразила Ольга. — Макаренко так говорил.

— Аркашка, что ли? Уж чей бы петух кукарекал, так только не его.

— Не Аркашка. Другой. Ты его не знаешь, — Ольга покосилась на кровать, где из-под подушки высовывался угол книги в зеленом переплете.

Перехватив этот взгляд, Михайловна неодобрительно спросила:

— Тоже — писатель?

Ольга молча кивнула.

Михайловна недовольно поджала губы, махнула рукой и отвернулась. Немного помолчав, поинтересовалась:

— Тебе когда на работу-то? — и тем как бы дала понять, что не хочет затевать наметившегося разговора о книжках — ну его к богу.

— Завтра с утра, — ответила Ольга. И упорно вернула разговор к прежней теме: — А пропащих людей, мама, не бывает.

Михайловна вздохнула глубоко и протяжно.

— Вот что, Оленька, я тебе скажу. — Но говорить временила, принялась разглаживать ворс на рукаве плюшевой жакетки. Посмотрела испытующе на Ольгу раз, посмотрела другой, начала: — Ты в нашем роду самая ученая — медицинский персонал. Голова у тебя ясная. А вот... Только ты, Оленька, не серчай, — подкрепила свои слова просящим взглядом. — Все-таки я поболее твоего прожила... В книжках да кинах, доченька, всегда все ладно-складно, а жизнь-то — она всякая, по-писаному не выходит. Уж больно много ты нянькалась с Витькой: ублажала, уговаривала, подходы искала. А надо б женскую строгость показывать. Пришел пьяный — нет тебе входа в дом. Где гулял, туда и ступай — никто тебя, такого хорошего, здесь не ждет. Не принес получку — лопай что знаешь, а я тебе не кормилица. Вот он, может, и задумался бы своей бестолковкой. Дак нет, ты все «Витя» да «Витенька». А ему то и надо, он, как по головке поглаженный, — еще пуще. Прошлый раз вспомни-ка: приволокся в полночь уж. Языком лыка не вяжет, весь в грязи и без одного ботинка. И что? Наутро, вместо того, чтобы выволочку, трепку ему задать, ты побегла к Марии Калитиной, денег заняла и — в магазин. Принесла новую обувь. Теряй и эти, еще куплю. Разве ж это дело? — Михайловна опасно покосилась на Ольгу — не обиделась ли? — на такие речи Ольга всегда обижалась.

— Мама, — взгляд Ольги блуждал по полупустой комнате, — вот мы Аркашку Макаренко сейчас поминали. Ведь и человек, и работник был...

— Был, — с горячностью подхватила Михайловна. — Был и швец, и жнец, и на дуде игрец...

— А теперь?..

В комнате установилось молчание.

Несмотря на возраст — двадцать семь лет от роду — начальство совхозное его навеличивало Аркадием Павловичем. Работал про-



работом. Перед ним ставили задачу: с тем-то надо к такому сроку управиться. «Было б сказано,— отвечал Макаренко весело (веселый, балагуристый был),— а уж мы сделаем». И делал. Выбивал, доставлял, строил, ремонтировал — не подводил. На него не могли нарадоваться, готовы были на руках носить. Но тщеславие было не в характере безотказного труженика Макаренко. Иногда вечером, чтоб нагрузку снять и расслабиться, выпивал дома поллитровку — как он говорил, «соответственно», соответственно своей комплекции то есть: здоровяк был — и ложился спать. Утром — как огурчик — шел на работу. Нет сварщика — сам варил, загулял крановщик — садился за рычаги, надо мастерком — и мастерком мог.

Рабочие восторгались:

— Что голова у тебя, Аркадий Павлович, что руки. Ну чисто Петр Великий!..

— А еще что Петр Великий умел? — намекал прораб. — С устатку-то?

— «Соответственно», Аркадий Павлович. Может, сбегать?..

Компанией шли по улице села. Навстречу, бывало, ехал на «газике» директор. Велел шоферу остановиться, выходил из машины. Макаренко, широко расставив ноги и раскинув, как для объятия, руки, слегка покачивался и пел — любил и умел петь, «нашим Нестеренкой» звали, в художественной самодеятельности выступал:

Вдоль по Питерской, по Тверской-Ямской  
С колокольчиком  
Едет Ванюшка сам на троечке,  
Едет миленький во поддевичке...

Жизнь виделась Аркадию Павловичу бесконечной широкой улицей, и все в этой жизни было прекрасно и любимо.

Директор улыбался, с ласковой снисходительностью хлопал бесценного прораба по плечу:

— Значит, «соответственно», Аркадий Павлович?

— Соответственно...

— После трудового дня не грех, ничего. Боля, подбрось Аркадия Павловича и его ребят до дому, — давал директор распоряжение

шоферу, а сам шел к конторе или куда там, пешком...

Утром, чтоб войти в норму и ехать в район выбивать кирпич, стало требоваться «соответственно». В районе, соответственно, требовалось отблагодарить хороших людей — в такое время живем...

— Малость увлекается Аркадий-то Павлович, — начало сетовать начальство. Но прощало: — Дело-то делает...

Пришла пора — стало и дело страдать. Зарядила с жалобами Галина, жена: почти не просыхает, денег не приносит.

— Сколько можно, Макаренко, — усовещевали. — Остепенись.

Остепениться было уже трудно.

Началась «воспитательная работа», «разговоры по душам», «борьба за человека» началась: «Такой, сякой, раздакий! Или, растудит твою, завязывай, или вытурим по статье».

Результатов — ноль.

— Пиши по собственному...

И облегченно вздохнули.

А Макаренко из Аркадия Павловича превратился в просто Аркашку и пошел-покатился. В несколько мест устраивался, но всюду удерживался лишь до аванса. А потом и отказывать стали даже в рабочих должностях. А мятущаяся душа искала исхода и успокоения. Требовал на выпивку у жены, грозил, с кулаками кидался, уносил вещи из дому... Галина терпела, терпела, собрала детей — двое было, — да и укатила тайком к родителям. Было в семье горе оттого, что Аркашка пил — теперь запил Макаренко мертвую с горя.

По ночам — смеясь рассказывал мужикам возле магазина — повадился к нему мальчик. Нагой, черный, голова большая, губастый, яблоки глаз большие, белые — словом, вылитый негритос, — сядет на корточки в углу и говорит весело: «Алкаса, а Алкаса, иди, выпьем», — и бутылку белой показывает. Аркашка, конечно, с удовольствием, встанет, подойдет, а — в углу пусто.

— Что сам смылся — хрен бы с ним. Но ведь и бутылку унес, нижон. Плохо, ребята, когда выпить нет...

— Как это, Арканя, нет? — хохотали мужики и подавали Аркашке стакан. — Мы не пионы. Остограмся и — спой.

Выпив, Макаренко пел:

— Ой, опять не видать  
Прежней красной доли.  
Я душой сам не свой  
Сохну, как в неволе.  
А бывал я удал...

И дальше про то, как «ни с тоской, ни с слезой молодец не знался, попивал да гулял, вот и догулялся»...

Мужики восторгались:

— Сила! Талант! Нестеренке до тебя дале-ко! Прими-ка вот этот... гонорар, — и подносили стакан...

Сейчас Аркашка Макаренко мрачно рассказывает у магазина мужикам и проезжим шоферам, что черный мальчик по-прежнему посещает его. Приходит, садится в угол, плачет, скулит и зовет: «Алкаса, а Алкас, пойдем в стайку, — и протягивает белую бельевую веревку. — Ну пойдем, а...»

— Моготы нет моей, мужики...

— Ты, Арканя, это... гони его, — совету-ют мужики. — Плохой пацан.

— Да гнал. Не уходит.

— Смотри, какой настырный. Но ты не тужи, — успокаивают мужики. — Надоест — сам уйдет. На-ка вот остопорись. И спой.

— О, если б мог выразить в звуке  
Всю силу страданий моих,  
В душе твоей стихли бы муки  
И ропот сомненья затих... —

надрывно и хрипло поет Аркашка. Мотает головой, плачет и утирает слезы...

— Вот я и спрашиваю: а теперь? — Ольга в упор посмотрела на Михайловну.

— Не пей, и все возвратится. Больше что посоветуешь...

— Не пей. Теперь это все равно, что я скажу тете Нюре Недогоновой: не кашляйте и никакой хронической пневмонии у вас не будет. А Аркашкина болезнь, может, и сложнее пневмонии.

— Ну, а нашему-то дураку, Витьке, тоже болезнь сунула в руки эту... холстину-то?

Болезнь его на кладбище погнала?.. Дрыном бы его хорошим вдоль хребта! Болезнь-то и вышла бы... На весь район оскандалил, скур-рат.

Печь уже дышала жаром. Лицо Ольги раз-румянилось. Растегнула и сняла кофту, перекинула ее через спинку кровати.

— Раздевайся, мама, и ты, скоро чай пить будем, я лимонов из города привезла.

Михайловна растегнула жакетку, но снять пока не стала. Облокотилась о стол, подперла голову ладонью.

— И кто бы подумать мог, что так оно обернется, житье-то ваше. Первое время любо глядеть на вас было. Люди завидовали. И на тебе. Как подменили окаянного... — Михайловна устремила взгляд в пол, а тусклый взор Ольги блуждал по пустынной улице за окном.

Витька Ивлев работал на промкомбинате. В цехе детской игрушки. Станочником. Сразу после десятилетки пришел сюда. И вот уже четыре года точил сегодня ножки для «иванушки», завтра рожки для «козлика». С планом справлялся. С людьми ладил. И вдруг... Впрочем, не так уж вдруг это было.

Однажды перед концом смены Максим Сорокин подошел к Ивлеву, ловко и легко — циркач позавидует — снял кепку, на дне ее лежало несколько мятых рублей.

— Кидай свой рваный, Витек, да я побегал, — глаза Сорокина, уже немного хва-тившего где-то, поддразнивающе улыба-лись.

— Не могу, Максим. В садик за сыном надо, — сухо ответил Ивлев.

— Соболезную, Витек, — изобразил траурную гримасу, Максим надел кепку и уда-лился.

На другой день Сорокин опять подошел. Витька ответил как и вчера. Подошел Максим и на третий. Витька сказал:

— Зря стараешься: я в этом деле человек неположительный.

— Не я буду, если не исправлю, — ехид-ненько засмеялся Сорокин. — Раз ты на прин-цип, то и я на принцип, — зачем-то пере-дразнил Максим старика Пушкирева, прозван-

ного Понтей. «Принцип» — его любимое слово. А еще он чуть не за каждым словом вставляет «понимаете», произносит его скороговоркой и получается «понте» — отсюда и прозвище: Понтя. Так его называли все, и только начальство навеличивало Василием Фомичом.

Высокий, худой и негибкий, как осиновый кол, Понтя считался учителем Витьки Ивлева.

— Хитрого тут, понте, ничего нет, — сказал он новичку и, угловато склонившись над вращающейся заготовкой, коснулся ее резцом. Витьке показалось, что дереву стало больно, а стружечная струя воспринялась им как вопль. — Понял? Ну-к, бери пробуй... Тверже, понте, тверже, не вилку я те дал...

Уже через несколько дней Ивлев стал работать самостоятельно. Хитрого в его профессии и в самом деле, считал, ничего нет. Но когда однажды подошел к Максиму Сорокину и стал из-за его плеча наблюдать, как он работает — убедился: очень это непросто, стать настоящим токарем по дереву. Максим, весь напружиненно-подвижный, гибкий, руки — нервно-чуткие. Резец его, создавалось впечатление, вовсе не касается дерева, а плывет над заготовкой и, как волшебная палочка, придает ей нужную форму. Прямо фокусник Максим, а не токарь. Обернулся к Витьке, озорно подмигнул:

— Понял?

Витька кивнул.

— Ни хрена ты не понял. Надо свободу чувствовать. Там, — приставил указательный палец к Витькиной груди. — Без свободы ты — халтурщик...

Так что настоящим-то учителем Витьки, может, как раз Максим был, а считался — Понтя.

Два года назад Понтю проводили на пенсию. Все честь по чести: говорили приятные слова, подарили большие, с боем, часы и набор рыболова. Понтя поклонился в зал поясено, утер выкатившуюся слезу и произнес речь, смысл которой сводился к тому, что как ни велик соблазн досужей пенсионерской жизни, Понтя не поддастся ему. Он человек совести и общественного долга и родной кол-

лектив не подведет: он останется. Чтобы передавать молодежи свой бесценный многолетний опыт — как токарный, так и профсоюзный. И Понтя остался. Правда, от станка своего он вскоре отошел — но, тоже правда, числился и получал зарплату как станочник — и выше волос, как он сам говорил, окунулся в дела профсоюзные. (Понтя был бессменным председателем цехкома и давнишним членом завкома): составлял планы, призывал, вдохновлял, разбирал, порицал... Всегда старался быть при начальнике цеха Николае Григорьевиче Хромченко, в доверие к которому втерся сразу же, как тот стал начальником, выполнял разные его поручения и просьбы, большей частью личные, висел у него на ушке. После проводов на пенсию нрав Понти не то чтобы круто, но довольно-таки заметно изменился: стал вламываться в амбицию, повышать голос и хмурить брови. То и дело говорил:

— Мы, понте, по этому вопросу так думаем...

И сообщал, как они, то есть Понтя и Хромченко, думают по тому-то вопросу.

— Да мы, Василий Фомич, разве ж не видим? — с деланной серьезностью соглашался Максим Сорокин. — Мы уж давно все ваши души насквозь видим, — и пускал по кругу кепку. — По рваному, мужики, первый тост будет за думальщиков.

— Что-то ты, Максим, понте, что... часто кепку стал сымать. Смотри, а то на цехком вытащу и со всей, понте, принципиальностью.

— А может, это, кепку-то сымать, — мое хобби, — ухмылялся Сорокин. — А хобби цехком запретить не может...

На другой день после того, как Максим из «принципа» пообещал «исправить» Ивлева, Понтя подошел к Витьке, выключил станок (была у него такая не всем нравившаяся привычка), велел строго:

— К начальнику цеха, Ивлев.

И, как конвоир арестанта, повел Витьку в кабинет Хромченко.

Начальник цеха, обычно смурной и неразговорчивый, сейчас был настроен весело и благодушно. На круглом малиновом лице, на-



поминавшем закатное солнце, улыбка, в блестящих глазах — сонливо-хмельная муть. С густым сопеньем поднялся, потряс Витькину руку, представил товарища, сидящего за приставным столиком и покручивающего на указательном пальце ключ зажигания:

— Дмитрий Юрьевич. Люби и жалуй, Ивлев.

Дмитрий Юрьевич, тоже под хмельком, но светлолицый, холеный, прилизанный, не спеша снял с пальца колечко с ключом зажигания, протянул короткопалую пухлую ладошку, одарил Витьку приторно-ласковой, но в то же время высокомерной, унижающей улыбкой. Витька не выдержал этой улыбки и пропустил взгляд поверх плеча Дмитрия Юрьевича. На шкафу Витька увидел три стакана, недопитую бутылку коньяка, прикрытую белой бумажкой закуску, а за окном заметил голубую «Волгу». Ту самую, которую не раз видел возле строящегося в березняке над прудом терема, самого приметного среди прочих дач. Кроме «Волги» Ивлев видел там и другую технику: автокран, бульдозер, машины с надписью на бортах «уборочная», груженные кирпичом, шифером, дверными и оконными блоками. И хозяина стройки, которого, оказывается, зовут Дмитрием Юрьевичем, видел, всегда вот такого же чистенького, прилизанного.

— Сто грамм армянского выпьешь, Ивлев? — заискивающе прищурился Хромченко.

— Я на работе, Николай Григорьевич.

— Так и мы не на рыбалке. — Хромченко и Дмитрий Юрьевич залиvisto засмеялись.

Понтя, тоже гогоча, взял со шкафа стакан и бутылку.

— Ну, а дела-то как, Ивлев? — поинтересовался начальник цеха. — На работе, в семье?

— Нормально, — ответил Витька, догадываясь, примерно, зачем его сюда призвали.

— Сено старикам не передумал косить?

Еще в конце апреля Витька заходил к начальнику цеха с просьбой дать ему отпуск в сенокосную пору. Хромченко недовольно поморщился. «Самое трудное время. В общем, там видно будет», — сказал. Витька понял: не даст.

— Не передумал, — сказал Витька.

— Изыщем возможность, пойдешь в отпуск. Когда надо будет, тогда и пойдешь.

— Держи-ка, — Понтя поднес Витьке пол-стакана коньяка.

— Не могу, — сказал Витька.

— Ты, понте, это... не балуй...

— Надо, Ивлев, — подбодрил начальник цеха.

Витька принял стакан и поставил его на столик.

— Честное слово, не могу.

— Нехорошо, понте...

— Не умеешь ты, Василий Фомич, — ласково упрекнул Понтя Хромченко. — Человека надо и так далее. Но ничего, расположим... Значит, Виктор, дело вот какое. Дмитрий Юрьевич тут у нас над прудом дачку строит...

— Такую, знаешь, избушку-завалюшку на курьих ножках, — унизил Дмитрий Юрьевич свое строение, чтобы тем самым возвеличить его, а самому испытать собственническое удовлетворение.

— Он бы, конечно, и пошире размахнулся, — подхватил тон Дмитрия Юрьевича начальник цеха, — но ведь все надо добыть, выколотить. Видишь, умаялся человек, — Хромченко кивнул на гостя, тот самодовольно улыбнулся и отвалился на спинку стула. — Давай, Виктор, поможем ему, чем можем. Например, как ты смотришь на то, чтобы выточить сто двадцать баясин? А?

Витька смутился и пожал плечами.

— В цене, думаю, сойдемся, — поспешил сказать Дмитрий Юрьевич уже серьезно.

— Да дело не в цене...

— В чем? Не стесняйся, говори. — Хромченко облокотился на стол, приготовившись слушать.

Но как было сказать, что Витьке это не нравится. Все: и коньяк, и торги, и дача, и особенно этот холеный, похоже, очень скользкий дачник.

— Матерьял — не твоя забота. Для такого человека, как Дмитрий Юрьевич, матерьял всегда найду. Давай, Виктор, выпей.

Витька не обратил внимания на приглашение начальника цеха.

— А директор на прошлом собрании, — Витька от ясного понимания того, что его хотят втянуть в грязную гнусную сделку, обрел внутреннюю раскованность и решительность, — говорил: плохо с матерьялом, надо экономить в большом и малом, дети от нас игрушку ждут.

Хромченко посмотрел на Дмитрия Юрьевича, тот на Хромченко. Оба засмеялись так, будто знали что-то такое, что слабому Витькиному интеллекту было недоступно. Витьку это оскорбило, и он сказал твердо:

— Я точить не буду. С матерьялом плохо...

— Ивлев! — строго одернул начальник цеха.

— Я могу идти, Николай Григорьевич? Разговор бесполезный...

— Витька, ты, понте, думаешь!..

— Не надо, Василий Фомич, — насупилсЯ Хромченко. — Пусть идет. Иди, Ивлев, иди. А с заявлением на отпуск я тебя жду по осени, не раньше.

— Понял, — сказал Витька и пошел к своему станку.

Принялся за работу, но работа не ладилась. Тогда Витька попытался внушить себе, что ничего не было: нигуда его не водили и ничего не предлагали, он безотлучно был здесь, возле станка, и, кажется, дело пошло.

Но тут Витька заметил, что по цеху в сторону кабинета начальника Понтя, как давеча Ивлева, конвоирует самого Максима Сорокина.

«Сейчас он вам выдаст такое, что не воздадутесь», — злорадно подумал Витька и стал ждать.

Ждал он совсем недолго. Максим вышел с поблескивающими глазами и довольно улыбающийся. «Как же это он?» — подумал Ивлев, помня, как Максим сам не один раз говорил, указывая на терем Дмитрия Юрьевича: «Вот бы где хорошему следователю поковыряться. Наковырял бы кой-чего».

А перед концом смены Максим подошел к Витьке и снял кепку. Ивлев в тайне души своей даже желал этого, но сделал вид, что не замечает Сорокина и принялся сметать щеткой со станка мучнистую древесную пыль.

Максим стоял. И кепку не надевал. Он смотрел на Витьку с такой пристальностью, будто хотел проникнуть в самую глубь души Ивлева.

— Нечестно, Витек. Ты — станочник, мы — станочники. Одних «аленушек» с «иванушками» точим, а...

— А кое-кто еще и балясины будет точить, — не отрываясь от дела, бросил Витька язвительно.

— Верно, — спокойно согласился Максим. — А сначала кое-кому другому предлагали, но он отказался...

— Отказался, — с превосходством подтвердил Витька.

— Потому что, — продолжал Сорокин, — не как другим, на выпивку-похмелку деньги ему не нужны — непьющий. Конечно, в другой раз и засандалил бы с хорошими ребятами, но — баба не велит. В праздники, говорят, — а народ зря не скажет, — остопорится только по ее письменному разрешению...

— Это ты про меня, что ли? — осведомился Ивлев: такого удара под дых он не ожидал.

— Нет, про Пушкина, — Максим вознамерился надеть кепку и уйти, но Витька, ухватившись за руку, остановил его.

— По-го-ди. — Достал трешницу, занеся ее над кепкой, спросил: — Поговорим?

— Я всегда — за.

— Обо всем и откровенно, — новая трешница прикрыла мятые рубли.

— Факт вполне положительный, — поощрил Максим и подмигнул с веселой лукавостью.

Расположились — человек пять — в сумрачном закутке на тарных ящиках. Выпили по первой — занялся разговор, живой и бодрый, как огонь в гаснущей печи, когда сухое полешко подбросят. Речь каждого была об одном: как вчера «надрался» до зеленой мокрети под носом, как едва до дому дополз, как жене «седался», как поутру мутрно на душе было, как очень кстати — все-таки есть бог! — клиент подоспел с заказом выточить гардины и с бутылкой самодрала в кармане...

Витька, уткнув взор в бетонный замусорен-

ный пол, слушал вполуха, дымил сигаретой и готовился к предстоящему разговору с Максимом. Начнет он пусть с немного высокой, но сильной мысли о том, что люди всегда должны оставаться людьми. И дальше растолкует, как он это понимает. Максиму, считал Ивлев, возразить будет нечего, потому что и он понимает все примерно так же, как Витька, только почему-то у него не стало настырности, вернее, вся настырность его в последнее время с прямой уходит куда-то вбок — ударился в шутовство, вообразил себе хобби. На скользкую дорожку ступил Максим...

Выпили по второй. Разговор — все о том же — становился все жарче, азартнее, безудержнее. Начались похлопывания друг друга по коленкам и по плечу. Выкрики были уже пронзительнее, готогание басистее, смех дружнее и заливистей. Истрадавшаяся публика входила в норму, всем становилось хорошо.

Витька Ивлев тронул Сорокина за локоть.

— Давай погутарим, Максим...

— Витек! Так гутарим же! Все вместе, а это, — порывистый и любвеобильный, Максим приобнял Витьку, сомкнул его плечо со своим плечом, — это, Витек, — главное. Когда люди вместе, меж ними разногласий нет. Мужики! Нет меж нами разногласий?!

— Не-е-т! — ответила хором компания.

— Докажем на деле! — Максим, сняв кенку, бросил в нее металлический рубль, пустил по кругу, и слова стали доказываться дружным делом.

— Витек, не задерживай.

Ивлев оторвал мутный взор от пола. Кепка была перед ним.

— Все-таки давай поговорим, Максим, — Витька отметил про себя, что язык его плохо слушается.

— Ты хочешь, чтоб разговор вышел серьезный?

— Серьезный, — кивнул Витька так несоизмеренно, что боднул кенку.

— Вот. А серьезный разговор требует серьезного поддатия, — Сорокин и все следом за ним захохотали. — Так что кидай свою лепту.

«Лепту» было не жалко. Витька кинул. И с грустью опустил голову, он понял: разговора с Максимом не получится.

А Сорокин и компания подсчитали между тем: набирается аккурат на две белых.

— А может, три «огнетушителя» и — в пивбар? — подал мысль кто-то.

Ему возразили:

— С красного башка болит.

— Это с вермута, а портвейное — ничего.

— Рассказывай сказки...

Так споря, вышли из цеха. Все, кроме Витьки Ивлева. О нем как-то забыли.

Витька сидел на тарном ящике, курил и думал. В его хмельной голове вдруг возникло множество мыслей. Таких, которые никогда раньше почему-то не приходили. Они — Витька почти физически это ощущал — шевелились, напозлали одна на другую, переплетались, сцеплялись, стремясь как-то упорядочиться, и, наконец, выстроились в строгую цепочку.

★ Мы говорим: дети — цветы, — пошел Ивлев по цепочке, — и правильно говорим, потому что дети и есть цветы жизни. А чтобы цветы красивыми росли, им надо все красивое подносить, игрушку — тоже. А красивую игрушку может сделать только какой человек? Опять же, красивый. Только красивый! А пьяный человек, к примеру, станочник, красивый? Нет, некрасивый. Ну, а те, кто матерьял, из которого должны возникнуть «иванушки» и «аленушки», уступают по пьянке и дружбе на балясины, а лощенные прохиндеи-дачники? Красивые? Да это грязные кирзовые сапоги, которые топчутся прямо на цветочной клумбе...

Вот такая интересная получилась цепочка. Витькина голова прояснилась, освободилась от рыхлого тумана, хмель остался, но он как бы уплотнился. Витька поднялся, сказал вслух с удивлением человека, сделавшего неожиданное открытие:

— Инте-рес-но! — и сильно и зло пнул только что служивший столом ящик. Ящик, кувыркнувшись, отлетел в сторону. А у Витьки родилась идея...

Ему здорово повезло: в этот уже поздний час он желал найти в конторе хоть какое-



нибудь начальство, и вдруг на тебе — увидел сразу всех. В Красном уголке закончилось какое-то собрание или совещание, и руководящий народ валом валил по неширокому коридору навстречу Ивлеву. Первыми шествовали по скрипучим половицам главбух Телегин, флегматичный мужчина в летах, и председатель завкома Крылова, женщина комплекции приземистой, но довольно широкой. За этими двумя следовали снабженец Давыдов и молоденькая плановичка, за ними Хромченко и возвышающийся каланчой Понтя. Замыкали колонну директор комбината, главный инженер и парторг.

На расстоянии двух шагов от впереди идущих Витька раскинул руки и, сделавшись похожим на крест, сказал громко, с тревожной требовательностью:

— Товарищи, стойте!..

Главбух и председатель завкома Крылова в изумлении остановились на полушаге. Снабженец Давыдов, которым изумление овладело с некоторой задержкой, продолжал двигаться и вошел плотным клином между профсоюзным лидером и главным финансистом, и в узком коридоре образовалась прочная закупорка. Витька воспринял это как еще одно везение, даже чуть ли не как помощь самой судьбы в такую ответственную минуту жизни и, разумеется, воодушевился.

— Товарищи, прошу, как грится, прощения, но я вам должен сказать!

— В чем дело? — первым пришел в себя флегматичный главбух Телегин.

— Только давайте, товарищи, без паники и всего такого. Я объясню... Я предлагаю: давайте дружно вернемся назад и устроим форум. Обсудим, значит, и искореним! В общем, предлагаю очередной, но единственный девиз: «Красивые игрушки — делают красивые люди!» Пьянству на рабочем месте — оглушительный бой! Нечестности и прохиндизму — победоносный бой! Давайте единодушно вернемся и поговорим. Я...

— Ты, Ивлев, — пьяный, — робко высказала свое предположение Крылова.

— Да, я — выпивши. Но я говорю трезво и серьезно.

— Ивлев, — смойся! — сделал свирепое лицо, прошипел Хромченко.

Следом за ним прошипел и Понтя:

— Витька, ты, понте, что, язви тебя!..

— Товарищи, моя инициатива идет снизу! Вернемся в зал! — призывал Ивлев.

— Не пойму, что за митинг, товарищи? — в недоумении осведомился директор.

— Да вот станочник Ивлев хорошо выпил и призывает к трезвости, — ядовито пояснил флегматичный главбух.

— А по-моему, он просто хулиганит, — сказал директор спокойно, но с чисто директорской категоричностью. И повелительно: — Николай Григорьевич!

Хромченко, стиснув зубы, обнял снабженца Давыдова за поясницу, с силой повлек на себя, ликвидировав закупорку, шагнул к Витьке.

— Уйди, Ивлев.

— Имею право! У нас свобода слова! — возразил Витька, — но решив, что этого недостаточно, добавил: — И свобода печати!

Доводы станочника на начальника цеха никак не действовали. Хромченко схватил Витьку за грудки и отстранил к стене. Такое обращение Витьке не понравилось, он завел правую, чтобы выразить протест поощритимее, а, значит, и поубедительнее словесного, и выразил бы его, но снабженец Денисов, ухватив за запястье, завернул руку за спину, с левой рукой то же самое сделал Хромченко. Тут подоспели другие управленцы, ухватились кто за что и под реплики толпы понесли нарушителя, в данном случае коридорного движения, к выходу. Витька брыкался, протестовал, перечислял все права и свободы, гарантированные ему Конституцией. Но Витьке не внимали. За воротами комбината его поставили на деревянный тротуар, и он остался один. Оставшись один, Ивлев тряхнул головой, заправил в брюки выпроставшуюся рубашку, застегнул всего лишь на одну уцелевшую пуговицу пиджак и почувствовал, что он почти совершенно трезв. Почувствовав это, заключил, что голос его души услышан не был, получилось что-то совсем не то, что он замыслил. Закурил и побрел домой...

На другой день, прямо поутру Ивлева раз-

бирали на цеховом комитете. Из пяти членов комитета присутствовали трое: мастер Парамзин, слесарь Вырубов и Понтя. Станочники Сотников и Хватов были в отпуске. Понтя объявил:

— На, понте, повестке дня у нас стоит один вопрос, но, понте, принципиальной важности: дебоширское поведение в пьяном виде станочника Ивлева.

Суть дела председатель цехкома попросил изложить начальника цеха Хромченко. И тот изложил происшедшее вчера вечером в конторском коридоре. Ни о чем не умолчал, но и ничего лишнего, можно сказать, не прибавил.

— Вот такая неприглядная история, — заключил он. — А почему все это произошло, думаю, вам, товарищи члены цехового комитета, расскажет сам товарищ Ивлев.

— Расскажу, — с готовностью отозвался Витька и встал. В душе он даже поблагодарил Хромченко за последние слова. Именно об этом — почему произошло? — Витька с женой Ольгой и проговорили далеко за полночь. — Говорить обо всем и откровенно? — обратился Ивлев ко всем присутствующим.

Всем своим видом высказав недовольство тем, что Ивлев обратился ко всем, а не персонально к нему, председателю, Понтя сказал назидательно и властно, упреждая и пресекая возможные Витькины увертки и замалчивания:

— И обо всем, понте, и откровенно, — и, приготовившись слушать, принял важную позу, напомнив Витьке высокомерного глупого гусака.

И этот вид и тон, каким говорил Понтя, объяснили Ивлеву, почему станочник Пушкарёв, которого по всем правилам, честь по чести проводили на пенсию, не сидит с удочками, а толчется в цехе. Бойтся вот этой маленькой властички лишиться — вот почему. Дома перед старухой строжиться — одно, а здесь вот — совсем другое. Дома старуха даже сама командует, когда дело касается выпивки, лишнюю рюмку не нальет, а здесь начальство просит: «Фомич, обернись-ка до магазина». Фомич всегда потрафит. Не столько из любительства, сколько из уважения

стопочку из начальнической руки примет. Из уважения же докладчику на трибуну станочник с водой поставит, — никто не догадается, а он поставит, — когда надо, свет включит. Докладчик закончит — Понтя первый слово возьмет: «Товарищи! Я, понте, как и вы, с огромным интересом прослушал доклад. Все в нем, понте, своевременно и принципиально. И я хочу с той же принципиальностью и прямоотой, не взирая на личности поставщиков — очень, понте, жалко, что их тут нет, — скажу: некачественную древесину они нам отгружают...» Какой бы вопрос ни стоял в повестке, Понтя будет нести поставщиков — его штатная тема — и закончит словами: «Я это как ветеран Великой Отечественной войны говорю. А доклад, понте, правильный, понте, принципиальный. Поддерживаю». Гордо подымет голову, дождется, когда ему захлопают, понаслаждается и пойдёт на свое место...

— В общем, значит, так, — начал Витька. Понтя сделал знак рукой Вырубову, секретарю, мол, не спи, все записывай. — Значит, вчера, сразу же после обеда вызывают меня к начальнику цеха. Там городской дачник сидит. Мне говорят...

— погоди, — Понтя одной рукой махнул на Витьку, другой — Андрею Вырубову, мол, не пиши.

— Чего? — спросил Витька.

— Ты, понте, про свое дебоширство давай, а не, понте...

— Так сами ж сказали: обо всем.

— Верно. Обо всем, понте, что тебя угрозило.

— А я про это и рассказываю. Вызвали и говорят, мол...

— погоди, Ивлев, — хмуро оборвал Хромченко. — Что мы там тебе говорили, пока не забыли. Так зачем повторяться.

— А они? — Витька указал на Парамзина и Вырубова. — Они ж ничего не знают.

— Но какое имеет отношение тот наш разговор к делу?

— Как это какое? — искренне удивился Витька. — Большое. Главное. Вы ж мне что предлагали? Вы мне...

— Витька! — Понтя пристукнул кулаком по столу. И Вырубову: — Не пиши.

— Не Витька, а Ивлев, — поправил Витька. — Я товарищ Ивлев. Ясно?

— Ну Ивлев ты. И что? Смотри, понте, какой он принципиальный. Ты, понте, не увиливай, понте, не ловчи! — Понтя погрозил Витьке длинным указательным пальцем. Говори по существу поступка. Что, понте, тебя понесло в контору?

— После работы выпил и пошел...

— Вот так, — Понтя сделал знак Андрею: пиши. — С кем выпивал?

— Не имеет значения, — буркнул Ивлев, помявшись.

— Как это, понте, не имеет? Все имеет.

— Что-то я не заметил, чтоб все. С ребятами выпивал.

— А фамилии у них есть? — иронично ухмыльнулся Хромченко.

— А как же. Например...

Понтя повернулся к Андрею Вырубову:

— Ты пиши, пиши.

— Сорокин, например...

Понтя и Хромченко переглянулись встревоженно.

— Погоди, — остановил Понтя Вырубова.

— А чего погоди-то? — запротестовал Витька. — Что говорю, все пусть пишет, так положено.

— Ты мне тут, понте, не указывай, как положено, а как не положено.

— Пиши, Андрей, — обратился Витька к Вырубову. — Сорокин Максим, например, выпивать наотрез отказался.

— Это запиши, — понизив тон сказал Понтя.

— И дальше, Андрей, пиши: он, Сорокин, значит, сказал: некогда мне с вами...

— Правильно сказал, — одобрил Понтя.

Витька, будто бы не обратив внимание на слова председателя цехкома, закончил:

— ...надо, говорит, балясины точить.

Хромченко ерзнул нервно на стуле. Понтя, велев Вырубову «не пиши!», вперила гневные глаза в Ивлева.

— С кем, спрашиваю, пил?

— Пил-то? — Витька наморщился, будто память напрягал, — пишете: с Ивановым...

— Запиши.

— С Петровым, с Сидоровым. Хватит? Если мало, то я еще могу пяток назвать.

— Вырубов, не пиши.

— Да вы что в конце концов, — взорвался Вырубов. — То пиши, то не пиши!

— Ничего не пиши. Я сам потом... Ивлев, ты, понте, где находишься? Ты, понте, чего перед нами ваньку ломаешь? — голос председателя цехкома уверенно набирал темп и зычность. — Ты где, говорю, стоишь?! Перед кем?! Мы, понте, что тут хаханькать собрались?! Спрашиваю, хаханькать?! Дело твое, — грозно постучал пальцем по краю стола, — сурьезное! Шибко сурьезное! Я тебя еще раз спрашиваю: чего пьяный в контору приперся?! Отвечай прямо!

— Мысль возникла.

— Какая еще мысль?

— Вы не поймете ее, — с безнадежностью сказал Витька.

— За дурачков нас считаете?

— Вы не хотите понять, вам это не на руку. Грязными руками чистого дела не сделать. Вот и вся мысль. Мы ж детей обкрадываем, матерьял налево пускаем. А из оставшегося пьяные или с похмелья точим что попало, брак гоним. Стукнуло мне это в голову, вот и пошел я.

— Это ж, понте, надо такого начальства набраться! — возмущенный, Понтя оглядел всех присутствующих, призывая разделить его возмущение. — Наклюкался как сапожник и пошел с пьянством воевать. Мыслимо ли? — остановил взгляд на мастере Парамзине.

— В принципе, мысль его благородная, конечно, но...

— Чего-о-о? — даже не дал договорить Понтя Парамзину. — Руководящие люди мирно идут с важного, политического, — тут Понтя многозначительно поднял вверх указательный палец, — мероприятия, а их перевстревает в дрезину пьяный дебошир из нашего цеха и давай куражиться, права качать, понте. Понте, мысль к нему пришла-возникла. Бреешь! Это ты ее, мысль-то, сейчас, на трезвую голову придумал: почуял, что жареным запахло. Пооскорблял людей, мордобой учинил, — кивнул на Хромченко, — а теперь



мысли? За такие дела тебя, сук-киного сына, по статье судить надо...

— Судите, раз надо. Но насчет сукиного — извините. От такого же слышу!.. — оскорбился Витька.

— Шшенок! Да ты знаешь... Да я... Я фронт прошел! И медаль имею.

— Правильно, мимо прошел. В тылу ковал.

— Да! В тылу! А ты знаешь, что в войну тыл тоже...

Хромченко кашлянул, мол, отвлекаешься, Фомич. Председатель цехкома оборвал себя на полуслове, тоже кашлянул, мол, понятно. И понизил тон:

— Ершится, понте, он. Ты не ершишься, а лучше скажи-ка вот нам: что думаешь дальше?

— Что вчера думал, то и сейчас думаю. И дальше это же буду думать.

— Вот, поговори с ним, — развел Понтя руками. — Значит, виноватым себя не считаешь?

— Что мысль пришла — не виноват. Ну, а за вчерашнее... за плохое поведение — извиняюсь.

— Спасибо хоть за это. Ступай. А мы тут еще, понте, подумаем.

После обеда на доску вывесили приказ: станочник В. Ивлев в пьяном виде приставал, учинил, грубил. Объявить, лишить, предупредить...

— Опыта у тебя нет, Витек, — заговорил сзади Максим Сорокин негромко и вкрадчиво. — Пошел бы с нами, и все б было пристойненько. А тебя какой-то бес туда понес. В политику полез. На хрена она тебе сплющилась. Спросил бы у меня, я б тебе золотые слова сказал: плетью обуха не перешибешь, на себе испытал. Понимаю, обидно тебе, но — ничего, переживешь, не ты первый...

Витька молча снял с головы Максима кепку и с размаху бросил в нее пятирублевку. От такой неожиданности Максим сначала часто залунал глазами, потом просиял.

— Вот это — факт! Неоценимый, Витек, факт! А я сегодня на подсосе. Жена не финансирует, из дому гонит. Димка-дачник жмотничает, аванс не выдает, мол, сделаешь

половину, половину получишь. В таком разе на хрена попу гармонь, а мне его балясины. — И приблизившись к Витькиному уху: — А вчера я два раза по сто его армянского дернул, — браво подмигнул. — А что, Витек, я, однако, сейчас же и сбегая...

И закружилась карусель. Чем дальше, тем быстрее и лише.

Уже начали сгущаться сумерки. Скоро стекла сделаются фиолетовыми. Ольга не любила этот цвет. Он для нее — ожидание, вызывающее тревогу и почти ощутимую немую в сердце боль. Дотянулась до выключателя, зажгла свет, задернула белые в полвысоты окна задергущки, в комнате стало уютней.

На плите сипел, исходя паром, чайник, крышка на нем приплясывала.

— Снимай, мама, жакетку — упреешь.

Ольга достала с полки чашки, поставила на стол. В это время где-то что-тобрякнуло. Ольга, чуть вздрогнув, посмотрела на дверь, потом вопросительно — на Михайловну.

— У соседей это, за стеной, — сказала старушка.

Ожившие было глаза Ольги снова притухли, движения ее сделались медлительнее и скучнее.

Притворив за собой дверь, Витька привалился спиной к косяку, смущенно-виновато улыбался, поджав губы, шумно сопел и, мерно покачиваясь, смотрел в пол.

— Оль, — спрашивал, — ты не ругаешься? Ольга не ругалась.

— Раздевайся, Вить, чего стоять, — говорила спокойно, а сердце уже начинало ныть.

Игорь, заслышав и завидев отца, прекращал игру в своем уголке, настораживался, подходил к матери и взбирался на руки.

— Игорек, здравствуй, — Ивлев совал свою вялую ладонь, но Игорь, обхватив мать за шею, прижимался щекой к щеке Ольги.

— А ты зачем пьяный? — говорил с плаксивым укором.

Слова эти больно царапали Витьку по сердцу. Капризно, будто тоже маленький, отходил к столу, шлепался на табуретку, ронял голову на руки, начинал всхлипывать.

— Сволочи, — говорил тихо и устало, а потом все громче и громче. — Сволочуги! Паразиты! — запускать пальцы в волосы, раскачивался и переходил на истерический крик: — Па-ра-зи-ты! Все!..

— Не надо, Витя, — просила Ольга, положив сзади руку на плечо мужа. — Витя, успокойся, слышишь.

Витька ничего не слышал. Сбрасывал с ног ботинки и поочередно запускать их куда попало.

— Прибью гадов! — кричал.

Однажды так высадил окно, в другой раз ботинок угодил в экран телевизора, недавно взятого в кредит, экран взорвался, осыпал пол осколками, один из них угодил Ольге в щеку и поцарапал до крови.

Не раз Витька хватал — потом Ольга стала его прятать — нож и порывался бежать.

— Прикончу удавов!

Посадив сына на кровать, Ольга удерживала Витьку, пыталась отнять ножик.

— Витя, успокойся. Ну успокойся, пожалуйста, — она сама начинала плакать от бессилья.

Приводил Ивлева в чувство истошный душераздирающий крик сына. Витька вздрагивал и замирал. Делал глубокий вдох-выдох и, обмякнув, печально-блуждающим взором обводил комнату, утирал рукавом рубахи лицо, пошатываясь подходил к кровати, падал на нее и тут же засыпал.

...Однажды в годы ученья в медицинском училище Ольга с подругой Галиной Федоровой пошли в кино. Купили билеты и стали в сторонке, дожидаясь, когда контролер начнет впускать в зал. Подошел парень, примерно их же лет, прилично одетый, попросил с улыбкой:

— Дайте посмотреть ваши билеты.

Ольга, ничего дурного не подозревая, дала. Парень крутанулся волчком и скрылся в толпе.

— Негодяй! — сказали Ольга и Галина.

Купили новые билеты, и Галина тут же обо всем забыла. Ольга не могла успокоиться. Конечно же, не шестьдесят копеек было жалко, ее возмущало хамство.

— Наглец! Какой наглец!

— Ты о чем это? — притворно удивилась Галина. — Ведь ничего не было. Не бы-ло, понимаешь? Это тебе показалось, померещилось, приснилось. Не было. Внуши себе: не бы-ло.

Ольга внушила: не было. И обо всем забыла, успокоилась.

Эта маленькая простая хитрость ей очень понравилась, и она стала прибегать к ней при всяком огорчении и то же советовала делать другим.

— Вить, — говорила Ольга утром поникшему, мучающемуся угрызениями совести мужу, — ты встряхнись-ка, ведь ничего же не было. Ничего-ничего плохого не было: к Хромченко тебя не вызывали, дачника ты в глаза не видел, про балясины не слышал, с Максимом не вынивал, в контору не ходил и, значит, ни цехкома, ни приказа не было. Ну ты представь, что не было.

— Представлял, Оль. Было.

— Нет, не было. Я же знаю. Вчера ты пришел домой в шесть. Вы с Игорем играли в вашу любимую игру: паровоз и вагончик. Было только хорошее, — Ольга ворошила Витькины волосы, дула на них, — а плохого ничего не было. Представь! Не бы-ло! Представил?

— А наверное и не было, — улыбался Витька.

— А я тебе что толкую? Не было!

— Точно: ничего не было, Оль! — говорил Витька с изумлением, мол, кто сказал, что что-то там было — ведь не было.

— Не было! — со всей убежденностью подтверждала Ольга. — Я давно тебе говорю: не бы-ло!

Ольга будила Игоря, собирала его, и Витька по пути на работу вел сына в садик «Солнышко».

— Папа, ты утром хороший, — ворковал Игорь, нажимая на букву «р».

— И ты у меня молодец, — отвечал тем

же Витька и повторял про себя: «Не было. Ни-че-го не было!»

— А вечером ты плохой,— капризно выпячивал Игорь губы,— потому что ты вечером пьяный.

Витька сминал вздох, повторял: «Не было. Не было».

«Не было. Ни-че-го не бы-ло!» — внушал он себе и входил в свой цех. Только входил и сразу же обнаруживалось: было. Все было!.. И, главное, есть...

Ольга скоро поняла: ее маленькая хитрость — слишком уж мала и проста, чтобы с помощью ее справиться с большой, глубоко засевшей в Витькиной душе обидой. Поняла и, молодая, неискушенная в жизни, растерялась. Она будто шла, шла по полевой тропке и вдруг тропка оборвалась. В замешательстве огляделась — кругом только поле, голое, бесприютное, нигде ни деревца, ни кустика, ни какого другого ориентира. А стоять на месте нельзя — ведь и день не стоит,— идти надо. И она пошла. Наугад — авось куда-нибудь да придет.

Старалась — как могла, неназойливо — убедить Витьку, что не весь свет, что в окне, по одним Понте и Хромченко нельзя судить о жизни вообще. Да и, если хочешь знать, Понти и Хромченки даже необходимы. Не будь их — жизнь бы остановилась, потому что люди бы перестали понимать, что — правда, что — ложь, что — добро, а что — зло. Зло нужно, чтоб знать, с чем и за что бороться. И дальше Ольга торопилась доказать Витьке, что для борьбы мало одной только уверенности, что ты прав. Я прав, и никни зло передо мной, как трава перед косой. Нет, так не бывает. Правда еще и умной, хитрой, изворотливой должна быть. И терпеливой и неустанной...

Витька не перебивал жену, слушал. Он вообще любил слушать ее. Когда они еще дружили и, бывало, сживали вечерами на берегу пруда, Ольга рассказывала, а Витька слушал и часто ловил себя на мысли, что говорит она о таком, о чем он сам не раз задумывался, но не находил подходящих слов, чтоб высказать это вот так же легко, без нагуги, как Ольга.

— Ты, Оль, прямо как по писаному,— восхищался Витька.

Ольга смеялась и показывала книжку.

— Вот откуда это. Хочешь почитать?

Витька, конечно, хотел.

Прочитав книжку, он начинал ее «рассказывать», вообразив рядом с собой Ольгу, и замечал, как все тянет его что-нибудь переиначить, прибавить чего нет, но, по мнению Витьки, должно бы быть в книжке. Однажды с горечью признался в этом Ольге, та сказала:

— Так это же хорошо. Значит, ты думать умеешь. А вот я, наверное, овечка.

— Как это?

— Конкретно мыслящая.

— Ясно,— сказал Витька, хотя значение слова «конкретно» ему было не совсем понятно.

...Ольга делала паузу, Витька спрашивал:

— Где это написано?

— Вот здесь,— Ольга показывала книгу.— Прочитай, если хочешь.

Витька набрасывался на книгу, как голодный на еду, за ночь «проглатывал» ее. А утром тащил с собой на работу.

— Вот, почитайте-ка,— Ивлев поверх бумаг клал перед начальником цеха раскрытую книгу.— Чистая правда описана.

Хромченко наигранно устало вздыхал, иронично смотрел на Витьку.

— Некогда, Ивлев. Работать надо.

— А вы не все, вы вот это. Специально для вас написано,— Витька тыкал пальцем в подчеркнутые им строки.

— Иди, Ивлев, работай.— Хромченко пытался закрыть книгу, Витька не давал, положив на нее пятерню.

— Я пойду, но вы сначала прочитайте. Про вас это...

Хромченко вскипал и подымался со стула, шамкал толстыми мокрыми губами, пытаясь что-то сказать, но получалось что-то нечленораздельное.

Выручал Понтя. Он тоже подымался, укалывал Витьку своими ядовитого цвета глазами:

— Витька! Ты, понте, здесь не это!.. Ты, понте, что на руководство насканиваешь?



Смотри, если принципиально, то это уже политическое дебоширство. Давай своим шарбаном-то, понте, думай, а это...

— Ну что? Что «то»? — нервно попытался Витька.

— А то, что всю прошлую неделю пьянствовал, имеешь два опоздания и прогул. Достукаешься, опять на местком вытасу. Иди работай, грамотей...

Мимо своего станка Витька шел к Сорокину.

И уже через полчаса Максим втолковывал захмелевшему после первых ста граммов Витьке:

— Перестань ты, Витек, скандалить с ним. На хрена тебе это сдалось. Втолковать ничего не втолкуешь им, а нервы угробишь. Нервы нам нужны для дела пополезнее, — и Максим наливал по второй.

А вечером, придя домой «на рогах», Витька упрекал Ольгу, что это-де она виновата в сегодняшнем его срыве: подсунула книжку — вот тебе и пожалуйста.

— Но это ладно. Дай пятерку, — требовал Витька у Ольги. — Раз виновата, значит, обязана выручать мужа в тяжелую минуту.

Пятерки у Ольги «не было», и она пыталась свести разговор в сторону. Витька требовал настойчивее: дай! Ольга упорствовала, тогда Ивлев, обзавав жену «вшивой интеллигенцией», хлопал дверью и шел к Зое, продавщице, которая поторговывала и на дому, вскоре возвращался с поллитровкой, взятой в долг...

Понтя «вытащил» на цехком сразу обоих — Сорокина и Ивлева.

Первым разбирали Максима. Он вел себя почтительно по отношению к председателю, охотно отвечал на вопросы, пояснял, со всем, в чем обвиняли, что ставили в укор, соглашался, склонив голову и теребя козырек кепки, выражал полное раскаяние.

— Больше не буду, — повторял скороговоркой, — больше не буду, чес слово.

Тем и заслужил Максим расположение Понти и всех членов месткома. Понтя говорил хоть и наставительно, но участливо, почти по-отчески:

— Золотые, понте, у тебя руки, Максим, человек ты душевный, а вот катишься ведь... Ох, смотри, доведет тебя твоя хобби, доведет. Советую: прекращай со всей, понте, принципиальностью и бесповоротно...

— Все, Василий Фомич, — Максим приложил ладонь к груди, — осознал. Спасибо за слова. На сто узлов завязываю и ни капли, — тут Максим хотел было еще и слезу пустить, но поостерегся: слеза — дело тонкое, можно перехлестнуть и тем самым все испортить. Ограничился он тем, что крепко сжал кулак, потряс им и закончил: — Совет правильный. Бесповоротно. Чес слово!

Максиму поверили. Но смотри, сказали, до первого замечания. И отпустили с миром.

Позвали Витьку. Максим улучил момент и успел ему шепнуть:

— Не лезь в бутылку, и все будет в ажуре, Витек. Секешь?

— Секу, — сказал Ивлев и зашел в кабинет Хромченко и стал против Понти.

Понтя, не спеша, будто наслаждался, рассматривал Витьку со всех сторон.

— Ну? — сказал.

— Что? — спросил Витька.

— С какой, спрашиваю, интересной мыслью сейчас пришел?

Что касалось Понти, то мысли о нем у Витьки были прежние, но он, помня наставления Максима, ничего не сказал, лишь потянул звучно носом. Понтя расценил ивлевское молчание как осознание Витькой своего полного поражения и, значит, признание победы Понти. Это его взбодрило. Он еще нарочито пристально порассматривал Витьку и молвил с нескрываемым глумлением:

— Красавец! Прямо писанный красавец! Так, понте, при игрушках и стоять бы тебе, да вот беда — вся рыла у тебя в дерьме.

Витька вскинул голову и, вмиг забыв о Максимовых словах, сказал в тон Понте:

— Твоя-то рыла, Василий Фомич, не чище, но сидишь же вот...

Лицо Понти побелело...

Словом, начались бурно выражаемые обоюдные «комплименты», и разбирательство кончилось тем, что Ивлева перевели на ни-

жеоплачиваемую работу: в тарный цех, ящики сколачивать...

— Эх, Витек, Витек, — сокрушался и страдал Сорокин, — я ж тебе говорил... Нет, неисправимый ты...

В тот день и, разумеется, в последующие они гуляли по причинам самым уважительным: Максим с радости, — изловчился и избежал наказания, ну, а Витька Ивлев, само собой, с горя и досады...

Ольга уговаривала Витьку: уйди с комбината, устройся в другую организацию и все пройдет-забудется. Нет, ни в коем разе, Витька всем докажет, что он не слабак, и вернется к своему станку. Поступай, советовала Ольга, заочно в институт или техникум, многие же учатся и у вас. Нет, Ивлев был и будет только рабочим. Тогда, предлагала Ольга, давай будем свой дом строить. Нет, окуркуливаться, как другие, Витька не станет...

Казалось: шла она, шла по тому самому полю и вдруг перед ней стена выросла, которую ни пройти, ни обойти. В минуты отчаяния и безысходности все чаще вспоминалась Галина, жена Аркашки Макаренко, которую Ольга теперь хорошо понимала и не осуждала. Даже завидовала теперь ей. Хотя и не знала, как сейчас ей живется, но, конечно же, не хуже, чем жилось бы с Аркашкой. А я что, прокаженная, что ли, железная?.. До конца додумать эту страшную мысль у Ольги не хватало духа, и она торопливо заслоняла ее мучительным вопросом: что же делать?

Долго не решалась, — считала это унижительным и для себя, и для мужа, — но однажды, переборов себя, собралась и пошла к директору промкомбината. Может, только потому насмелилась, что Никитин слыл человеком энергичным, пробивным и трезвомыслящим. За два года его директорствования комбинат заметно преобразился. Наполовину почти обновился станочный парк, построена своя котельная, расширены вспомогательные службы, построено несколько жилых домов, повысилась зарплата рабочих. За все это Никитина уважали.

— Я к вам не жаловаться, — сказала торопливо Ольга. — Я за советом.

— За доверие, конечно, спасибо. Но смогу ли вам что-то посоветовать? — Никитин расположительно улыбнулся. — Я слушаю вас.

Ольга стала рассказывать. Все с самого начала: как Витьку вызвали к Хромченко, как предлагали пойти на сделку, как его оскорбило это и он отказался...

Тут директор, извинившись, — Ольге показалось, он знал всю эту историю, — прервал Ольгу, показал в окно на трубу новой котельной.

— Дымит.

Ольга взглянула в окно. Из трубы котельной почти вертикально тянулись космы серого дыма. Дымит. Но к чему это? — непонимающе посмотрела на директора.

Никитин стал обстоятельно, не спеша объяснять:

— Что дымит-то всему селу видно — благо высокая, — а каких усилий и трудов стоило этот дым в небо пустить — знают немногие. Да и не интересно это людям, им тепло нужно. И вот тепло есть. А могло бы долго еще не быть, если бы не один хороший знакомый Хромченко, тот самый дачник Дмитрий Юрьевич. Если положить руку на сердце, он и мне не очень-то симпатичен, но ведь дымит, — Никитин снова показал на трубу, — и мы должны благодарить его, он нам котел обеспечил. Сравните: котел и сотня-полторы балясин, — директор, чуть склонив голову набок, смотрел на Ольгу, мол, что вы на это скажете?

Как при взбалтывании смешивается во флаконе нашатырный спирт и слой масла, предохраняющего спирт от выдыхания, в Ольгиной голове тоже все смешалось и перепуталось. Похоже, Никитин это понял.

— Муж ваш, как я понимаю, честный, порядочный. Что, конечно, приятно, но... — директор сделал паузу, и Ольга воспользовалась ею.

— А если он станет алкоголиком, вам тоже будет приятно?

— Но буду откровенным, — продолжил директор, не обратив внимания, — думал над

фразой — на Ольгин вопрос, — ваш муж оскорблен. Тут и слов нет. Душу его ранили. Но это-то, — Никитин еще раз показал на котельную, — для всего комбината и почти половины села.

— Оскорблен вовсе не мой муж, а правда, которая вообще на всех людей одна.

— Дорогие вы мои, юные... — произнес Никитин по-человечески печально-снисходительно и умолк, не договорив. Но и так было понятно: высокие слова и жизнь — вещи разные.

— Значит, по пословице: на войне не без убитых?

Директор развел руками: мол, получается так.

— И во сколько же душ вам обошлось это? — теперь Ольга показала на котельную.

Заметив в ее голосе ироничность, Никитин ответил иронично же.

— Подобьем бабки — узнаем. Но пока подбивать нет необходимости. Пока что людьми воспринимается это, — жест в сторону котельной, — как благо.

Непродолжительное молчание нарушила Ольга:

— Дорогие ваши блага.

— Надеюсь, те, кто придут после нас, снизят их себестоимость, — намекнул директор.

— Я тоже надеюсь. Вполне серьезно и искренне. Но сегодня за все в ответе старое поколение. Вот я у вас и спрашиваю: как мне быть, где выход?

Глаза Никитина потускнели, лицо сделалось строго-задумчивым, он долго тер ладонью то висок, то лоб, наконец, сказал:

— Ведь в общих успокоительных словах вы не нуждаетесь. А того, что вы хотите, у меня, честно скажу вам, нет. Я всего-навсего директор промкомбината, да еще, может, отстающий от времени, а не директор института психологии или чего там еще. И, пожалуйста, не сердитесь...

Нет, Ольга не сердилась. Выйдя от директора, она поняла, или, скорее, почувствовала, что в жизни есть такая жестокая закономерность, может, подвластная одному времени: когда виноваты все — винить некого. И

она не винила теперь. Да и не осталось уже на это никаких сил. В душе было до судорожности холодно и пусто.

Зашла в садик, собрала Игоря. По дороге домой ей опять вспомнилась Галина Макаренко. Наверное, была минута, когда и она пришла к мысли, что если некого винить, то и ее не будут. И Ольгу не будут. Все видели: помучилась. Или она проклятее всех? Да пропади оно все пропадом, катись в тартарары! Вот, что в ладони, — ее — теплая, маленькая ладошка сына, — только то и ее. Хватит. Все бесполезно и, значит, — конец! Ольга ужаснулась и одновременно обрадовалась так неожиданно и легко пришедшему решению. Хватит! С тем и вошла в дом.

Она зашла и увидела: за столом ее Витька и Аркашка Макаренко. Выпивают.

Ольга прошла к нетопленной печи, прислонилась спиной к холодному обогревателю и, скрестив на груди руки, стала задумчиво и скорбно смотреть на мужа. Игорь, опасливо покосившись на отца и незнакомого дяденьку, прошмыгнул в свой уголок, чтобы взять зеленый капроновый самосвал и с ним идти на улицу «возить песок».

Чувствуя на своем затылке взгляд жены, Витька, чтоб показать перед гостем свою независимость, поднял стакан.

— Аркань, давай по граммულке.

Аркашка, косматый и небритый, облокотившись на стол, сидел низко склонив голову и не то дремал, не то думал о чем.

— Слышь, Аркань.

— А? — поднял Макаренко голову. Его качнуло, шаткая табуретка под ним пискнула.

— Подымай, говорю.

Аркашка нетвердой рукой потянулся к стакану. В это самое время Игорь потянул за веревочку-поводок самосвала, игрушечный хлам барабанно загремел. Аркашка глянул в угол, увидел мальчика и отпрянул назад, глаза его расширились от страха.

— Вон он, — прошептал, — смотри.

— То мой сын, Игорь, — пояснил Витька. — Ты подымай.

— Не-е, — в ужасе замотал головой Макаренко. — Это он.

— Кто?



— Мальчик. Тот самый, — тихо и таинственно произнес Аркашка. — Видишь, с веревкой. Сейчас звать меня станет, — Аркашка затравленно прижался спиной к стене, лоб его мгновенно покрылся испариной.

— Сын это мой, Аркань, — повторил Витька и с приоткрытым ртом и стаканом на весу застыл, обалдело глядя на Макаренко.

У Ольги по спине пробежал морозец, и она тоже оцепенела. Игорь, ничего не понимая, смотрел то на мать, то на отца, то на страшного дяденьку и часто моргал блестящими глазенками.

— Сейчас он плакать станет, — Аркашка показал пальцем в Игоря и еще сильнее приплюснулся к стене, будто стремясь вдавиться в нее. — Витьк, прогони его.

Игорь заревел, подхватился и, таща за собой на белой веревочке самосвал, кинулся к матери.

— Уйди-и, уйди! — Аркашка заслонился от Игоря ладонью. — Сгинь!

— Да сын это мой, говорю! — закричал Витька, чтобы привести Аркашку в чувство.

Аркашка вздрогнул и стал медленно приходить в себя. Лицо его было измученное и бледное. Рассеянный взор его блуждал по комнате.

— Это ж Игорь мой. Ты что, Аркашк, — Витька улыбнулся. — Чудак ты.

— А-а-а, сын. — Аркашка окончательно очнулся и закивал растерянно и понимающе. — Сын. — Он грустно и без отрыва смотрел на Игоря, уже забравшегося на руки к матери, и не переставал кивать. — Сын... А у меня двое... Сын... — перевел взгляд на Ольгу и, будто силясь признать в ней кого-то, долго смотрел на нее, сведя к переносью брови, отчего лицо его сделалось страдальчески-удивленным.

— Аркашк, — позвал Витька.

— Ну? — отозвался Макаренко, не отрывая взгляда от лица Ольги.

— Подымай, поехали.

— Вы с Галиной моей волосами похожи, — Аркашка кручинно вздохнул и задумался, устремив взор в какую-то далекую даль. Потом взял свой стакан и, не видя Витькиного, протянутого для чоканья, залпом

выпил, навалился на стол, обхватил голову руками и запел надрывно и хрипло:

— И я б отдохнул, дорогая,  
Страдание высказав всё.  
Заветному звуку внимая,  
Разбилось бы сердце твоё.

И вздымаясь всем телом, повторил, беря ноты все выше и выше:

Зав-е-етному звуку внимая,  
Р-р-разбилось бы серц-е-е-е твоё-е-е!

Голос его резко оборвался, голова, как подсеченная, упала на стол, будто у него самого сейчас вдруг разбилось исстрадавшееся сердце, весь судорожно колыхнулся, и из самой души его исторглись рыдания...

Вот тогда Ольге и подумалось, что такого не может быть, чтобы не было виноватых. Нет, когда виноваты все, то все и в ответе. Все — значит, и она тоже. Она — виновата за всех.

Затихнув, Аркашка поднял голову.

— Оль.

— Ну?

— Ты это, Оль... мальчика худого... головастого, черного... Он с белой веревкой. Не пускай сюда. Он хитрый. Очень хитрый, Оль. Смеяться, потом плакать будет. Не пускай, а...

— Не пустит она, — успокоил Витька. — Ты, Аркань, не бойся.

— Ага, Оль. Не пускай, — наказал еще раз Аркашка.

— Я не пуццу, Аркадий. Не пуццу. — Ольга это так сказала — как клятву дала...

В тот же вечер Ольга узнала от Витьки, что в первой половине дня было заседание завкома, на котором Ивлева разбирали.

...Когда Витька предстал перед членами комитета, председатель Крылова сказала:

— Расскажи нам, Ивлев...

— А почему я-то должен рассказывать? — прервал ее Витька, картинно удивившись. Он перед этим малость — «для храбрости поведения» — «вмазал» и был настроен легко и весело.

— А кто же за тебя должен рассказывать? — тоже удивилась — искренно, конечно, — председатель завкома.

— Моя главная забота — присутствовать и соглашаться. Я присутствую. И наперед согласен со всем, что вы наперед про меня решили...

— Ну ты это... — оборвал Понтя Витьку. Он сидел рядом с Крыловой, по правую руку от нее. — Ты, понте, здесь не дерзи, не дерзи, говорю! Отвечай, понте, прямо: до кех, понте, пор пить-гулевать будешь? Вопрос стоит со всей принципиальностью.

— Ну раз принципиально, — Витька нажал на «ы», — то принципиально и говорю: сколько, понте, ни нальешь — до дна выпью, а потом...

— И-ивлев, — сокрушенно произнесла Крылова.

Другие члены завкома отозвались рокотом возмущения. А Понтя побелел, с силой ударил ребром ладони по полировке стола и хотел что-то сказать, но Витька сказал раньше, жалеюще-ласково:

— Что-т ты нервный стал, Фомич. На покой тебе надо.

— Не волнуйсь! — Понтя еще раз саданул по столу, теперь кулаком. — На тебя моих нервов хватит. И управу найду...

Дальше между Витькой и Понтей состоялся — теперь уже традиционный — обмен «комплиментами».

— Василий Фомич! Ивлев! Прекратите! — призвала их к порядку Крылова, постучав карандашом по графину.

Понтя и Витька умолкли.

Понтя, как немножко проштрафившийся и теперь стремящийся доказать свою положительность школьник, аккуратно поднял руку. Крылова сказала ему: «Пожалуйста». Понтя чинно поднялся, достал малюсенькую записную книжечку. Кашлянул в кулак и начал:

— Понте, перед нами товарищ Ивлев... —

И, заглядывая в свою книжечку, Понтя принялся мазок за мазком рисовать социальный портрет Витьки Ивлева. В книжечке было все обозначено: и когда, и где, и с кем Ивлев пил, и сколько прогулов совершил, сколько опозданий допустил, сколько раз самовольно отлучался и куда, какие дебоширства и хулиганства учинял, сколько раз раз-

бирался, предупреждался, наказывался, лишался... Словом, с виду маленькая книжечка была по сути большой энциклопедией.

— Вот такая, понте, картина вырисовывается, — заключил Понтя и спрятал свою богатую книжечку в глубокий внутренний карман пиджака. — Исходя из сказанного и приведенного, а также из того, что Ивлев, понте, явился на завком, на, понте, политическое... мероприятие в дрезину пьяный, то ждать от него больше нам нечего и я принципиально предлагаю (прошу записать в протокол): Ивлева с комбината уволить, — и Понтя сел, чинно же, как встал.

Крылова предложила высказаться другим членам завкома. Другие члены безмолвствовали.

— Поактивнее, товарищи.

— Пусть скажет, как он думает дальше, — подал кто-то робкий голос.

— Ивлев, ответь, как ты думаешь дальше, — повторила Крылова.

— Дальше? — задумался было, даже хотел поскрести затылок, но вместо этого махнул рукой, сказал с подчеркнутым безразличием: — А мне все до фени.

Члены завкома отреагировали на эти слова ропотом изумленного осуждения.

Других предложений не было. Вопросов тоже. Может, потому, что день был пятничный, и многие думали о бане. Голосовали за предложение Понти, продемонстрировав полное единодушие, и, значит, запись в протоколе была сделана на самом законном основании: ходатайствовать перед администрацией об увольнении Ивлева В. С. с комбината...

У самой двери Витька обернулся к Понте:

— Долг платежом красен.

— Гуляй, понте, гуляй, — ответил Понтя вдогонку...

Вечером — все того же дня — в Доме культуры был праздник пенсионеров. На фасаде ДК висело приглашение, написанное зелеными буквами по белому холсту: «Добро пожаловать, товарищи пенсионеры!»

На другой день утром холста уже не было. Праздник прошел и сняли — казалось бы, ничего удивительного. Однако директор ДК Пе-

тин удивлялся и даже возмущался. Лично он распоряжения снимать не давал.

— Кто? — вопрошал Петин, стоя на крыльце ДК в окружении нескольких односельчан, остановленных возмущенным видом директора. — И, главное, когда успели! В первом часу уходил — висел. Ну народец!

— На кладбище твоя потеря, — сообщил подошедший Степан Солодовников, совхозный шофер.

— Как?! — челюсть Петина — да и других — что называется отвалилась.

— А шут его знает. На ферму доярок везу, гляжу, висит на воротах: «Добро пожаловать, товарищи пенсионеры!» Вот это, думаю, сервис у нас начался, — Степан хотел хохотнуть, но вовремя спохватился — не к месту.

Петин и все, кто был возле ДК, скорым шагом, переходящим на рысь, двинулись к кладбищу. Прибыв, увидели необыкновенную картину. Витька Ивлев с ружьем наизготовку конвоировал Понтя в ворота кладбища, на которых висел холст, висевший раньше на фасаде ДК: «Добро пожаловать, товарищи пенсионеры!». В руках у умерь перепуганного Понти была ржавая лопата с надломленным черенком. Боязливо оборачиваясь, Понтя пытался вразумлять Ивлева:

— Дело это, понте, политическое... За это, понте, статья...

— Умолкни, курва, или щас пальну в зад, — угрожал Витька. — Он был уже навеселе.

Среди прибежавших во главе с Петиним пенсионеров не было, и потому все стабунились по эту сторону ворот. Да и Витька, зашлышав топот, обернулся и напомнил, показав на холст:

— Вход только пенсионерам.

Понтя, завидев людей, обрел некоторую надежду и, призывно глядя на Петина — среди всех он был самое начальственное лицо, — воззвал тоном, каким и должен звать обреченный:

— Товарищи! Односельчане, понте, и братья! Пособите! Понте, я сорок лет в строю,

участник войны с фашизмом... Понте, пристрелит ведь.

— Само собой, — согласился Витька, придав голосу как можно больше холодности, — но сначала могилу себе рыть будешь. Все на месте! Гражданин Пушкарев — вперед!

— Товарищи! Да что же вы!.. — губы Понти мелко задрожали, он заплакал. — Я, понте, в суд... Я корову прогонял, понте, на выпас... Понте, мой батька с Колчаком...

— Р-р-разговорчики! — прикрикнул Витька. — Вперед! Работы у тебя еще много.

— Дорогие братья!...

Добрые сердца односельчан больше выдержать не могли. Витьку стали увещевать, советовали не дурить, отпустить старика. Намекали, мол, не поздоровится. Все это — мягко, осторожно: кто знает, что у него, пьяного, на уме. Витька упорствовал, говорил, что сейчас начнется главная комедия — Понтя будет рыть себе могилу...

Однако спектакль был прерван. Прибежал участковый Колесников и, остановясь тоже по эту сторону ворот, — он был лишь несколькими годами старше Витьки, — однако впереди всех, довольно смело, правда, положив руку на кобуру, повел переговоры, и Витька «разоружился». Но перед этим обратился к Понте:

— В штанах-то, поди, того самого?.. А трепался, мол, нервы у меня железные. Кенай отсюда. — И повернулся к собравшимся: — Конец комедии...

Как тут же выяснилось, Витькино ружье было не только не заряжено, но и без спускового крючка и с треснутым прикладом. Оно было брошено в дровнике прежним хозяином ивлевской квартиры.

Обретя свободу, Понтя подступил к Колесникову и дрожащим, но требовательным голосом сказал:

— Со всей, понте, принципиальностью требую без откладательства составить протокол по закону. Дело — поднял палец над головой — политическое...

Через каких-нибудь три часа за Витькой глухо затворилась дверь камеры предварительного заключения в раймилиции.



Ольга и Михайловна сидели за столом, пили чай, вели разговор о своем горе.

— Не понимаешь ты, мама, Витьку, — упрекнула Ольга.

— Конечно, — обиделась Михайловна, — где уж там матери знать-понимать вас.

— Вот ты с чем ко мне пришла, с какими словами?

— Так ведь, Оленька, — Михайловна жалостливо склонила голову набок. — Вспомни, когда выходила ты за него, окаянного, как мячик была. А сейчас? Селедка, прости меня, господи. Сколько ты маяту эту, каторгу терпеть можешь...

Ольга помешала ложечкой в чашке и, глядя, как кружатся на дне чайники, сказала:

— Конечно, у вас нам будет лучше. А собратиться-то — всего за Игорем сходить. Ну, а если, — вскинула глаза на Михайловну, — завтра Витька придет?.. Придет, а окна холодные. Не светят ему. Куда податься? К вам? Так папа же сказал: на порог не пущу. Значит, к Максиму, Аркашке. А с ними — к Зое. Уж она-то их всегда утешит... Не ожидала я такого от вас. Конечный, говорите. Не рано ли? А я-то думала вместе бедовать будем, как одна душа...

— Оленька, доченька, — Михайловна, сухонькая, легкая, поднялась, ее морщинистое лицо еще больше сморщилось в плаче. Она ступила к Ольге, Ольга поднялась ей навстречу, старушка уткнулась в ее плечо. — Да как же... Мы с отцом Витьку, конечно... Тебя, говорю, жалко. Перед людьми совестно... Как терпишь-то, где силы берешь?..

Ольга погладила Михайловну по костлявой спине.

— Чудная ты, мама. Люблю я его, — и, приложив ладони к вискам Михайловны, поцеловала ее в холодный лоб.

— Да что у тебя за сердце-то такое? — Утерла платком глаза и заглянула Ольге в лицо. — Голубонька...

— Садись, мама, я тебе свеженького налью.

— Нет, дочка, пойду. Отец ведь один там. Пойду...

Уже на крыльце Михайловна опять всхлинула:

— Говорю, я его родила, мне б и маяться. А ты-то за что?

— Мама, — строго упрекнула Ольга. И ей вспомнилась родная мать, которая так далеко от этого сибирского села, почти на самом краю света, но так похожа на ее свекровь. Наверное, в чем-то, в самом главном, все матери земли одинаковы.

— Не буду, дочка, не буду... Ну, оставайся с богом. Игорюшку-то так и не увидела. Сказывай ему привет от бабушки с дедушкой...

В холодном небе уже проклюнулись и мерцали звезды. Воздух был густой и жесткий, пахло горьковато-пряным дымом осенних костров. И была какая-то настороженная тишина, давящая, которая, казалось, вот-вот разорвется. Михайловна ступала по дороге, и под калошами сухо похрустывала галька. В домах горели огни, на дорогу падали снопы света. Тень Михайловны то вытягивалась и быстро убегала вперед, то раздвигалась, то оббегала стороной и отставала.

Михайловна остановилась, обернулась и увидела: Ольгино окно тоже светилось. Свет исходил из него какой-то особо приветный. А над домом, над самой его крышей повисло большое одинокое облако. Оно было молодое и белое-белое во мраке ночи. И Михайловне вспомнилось, как лет, однако, пять, а то и шесть, врач прописал ей уколы от этого проклятого радикулита, она пошла в амбулаторию и увидела новенькую медсестру. В белом халате, беловолосая, стройненькая, спорая и веселая, она походила на молодое игровое облачко. Пока сестричка готовила шприц, Михайловна смотрела на нее и подумала, что, должно быть, рука у нее легкая. И вправду. Сделала укол — как муха лапкой задела. «Спасибо тебе, дочка». — «На здоровье, мама», — и засмеялась, белые чесночинки зубов показала, на щеках обозначились ямочки.

Окно светилось. Для сына, для Витьки, этот свет. А над домом висело большое белое облако. Михайловна перекрестила окно, дом и облако: «Сохрани тебя, господи...» Обер-

нулась, чтобы идти дальше, и увидела человека, ссутулившегося, вобравшего голову в плечи. Он, покачиваясь, шел навстречу ей, кому-то впереди себя грозил пальцем и смеялся:

— Ох, и шельма же ты! Ох, шельма!..

Михайловна посторонилась к самой обочине, человек прошел, не заметив ее.

«Тоже чье-то горе пошло,— вздохнула про себя Михайловна.— Кто ж это? Не то Аркашка, не то... Вроде знакомый кто-то»... различить человека ей не давал острый, слепящий глаза свет из окна напротив.

— Пошел ты, говорю, к дьяволу. Умо-рил!..

Михайловна еще раз вздохнула вслед человеку. И в это самое время совсем рядом с облаком ярко вспыхнула, как вскрикнула, падучая звезда. Чиркнула небо и растворилась во мраке. По поверью, это отошла чья-то душа и, бесприютная, полетела искать пристанища. Сердце Михайловны тревожно сжалось. Чего бы это?..

Она шла и не знала, еще никто в мире не знал, что в миг, когда вспыхнула, будто вскрикнув, звезда, Аркашки Макаренко уже не было на свете. Черный худой мальчик слезами и упреками уговорил-таки Аркашку принять из его рук бельевую веревку. Больше никому уже не услышать его печальных песен...

Пока руководители цехов, служб и отделов собирались на планерку, директор промкомбината Никитин разбирал бумаги и прислушивался, как те, кто уже сидели за длинным столом, вполголоса обсуждали потрясающую все село новость.

— Вот она, какая штука жизнь...

— Был человек и — нету...

— Кто ж ему виноват-то...

Кто-то со вздохом, примиряющим случившееся с жизнью, рассудил:

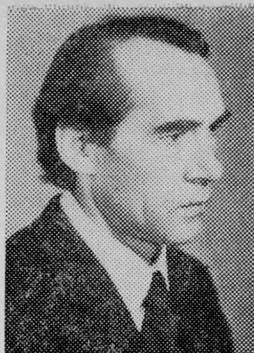
— Где виноваты все, там винить некого.

Никитин, вдумываясь в смысл последних слов, оторвался от бумаг, скосил взгляд в окно. Из трубы котельной вырывался и, клубясь, устремлялся в небесную высь сизый

дым. Никитину вспомнилось, как прошлым летом, когда все уже было готово, чтобы начать поднимать эту самую трубу, бригада монтажников сбилась с ног, отыскивая запропавшего куда-то рабочего, имевшего опыт в этом сложном деле. Так и не нашли. Начали без него. Когда один конец трубы оторвался от земли и, зависнув на расчалках, стал подниматься все выше и выше, из другого конца трубы сначала выкатилась пустая бутылка, а потом высунулись ноги потерявшегося рабочего. Никитин, бывший здесь же, на стройплощадке, гневно распорядился: уволить! Рабочий Макаренко, — запомнилась фамилия, — переживая свой позор, бормотал «простите» и пытался что-то пояснить, но директор поднял руку: «Все. Вопрос с вами решен». «Простите его», — говорили взоры рабочих, обескураженных резкостью распоряжения нового директора и тоже желавших что-то сказать в защиту Макаренко. «Продолжайте работу», — сухо сказал им Никитин и удалился... Вспомнилась на днях бывшая у Никитина встревоженная и растерянная жена молодого станочника Ивлева, разговор с ней, вспомнился рассказанный ему случай на кладбище...

— А может, все-таки так: где виноваты все, там всех и винить надо? — притухшие от задумчивости глаза Никитина остановились на главбухе Афонине. Афонин в панической конфузливости посмотрел на снабженца Давыдова, потом на парторга Усова, потом на Хромченко: мол, говорил кто-то из вас, а упрек начальства почему-то адресуется мне. Никитин понял это и, упорно не сводя глаз с главбуха, с нажимом повторил: — Всех. Всех нас винить надо, что не стало человека...

Аркашкина душа отошла, как говорится, в вечность. А черный мальчик? К кому, в чей дом теперь переселится, сядет на корточки в угол и кого будет, жалко плача, манить за собой и кому протягивать бельевую веревку черный, как ночь, мальчик?.. Да, кстати, уже сегодня поутру Михайловна вспомнила, — само вспомнилось — это ж Максим Сорокин вчера вечером встретился ей на улице. Один он так заламывает кепку...



## Владимир Петраш

И вспомню рожь зеленую, густую,  
И ужаснусь открытию своему:  
Я жил не так, я проиграл вчистую —  
Не дай господь такого никому...

### КОСЬБА

#### МАЙ 45-ГО

Май сорок пятого я помню  
Таким, каким он был тогда:  
В селе на площади знамена,  
И пляшет мама с теткой Домной,  
И радость кажется огромной,  
И малой — прошлая беда.

\* \* \*

Вдоль магистрали Транссибирской  
Так много стел иobelisков.  
Они у гор, долин и речек  
Стоят затем лишь, может быть,  
Чтоб нам, кто в званье человечьем,  
Былое время не забыть.

\* \* \*

Крестьянский сын, забыл я луг и поле,  
Давным-давно я не мечу стогов,  
Живу, как перст, как лодка на приколе,  
Пишу стихи, но грустно от стихов.  
Я выйду в ночь, в кружение снеговое,  
Начну душе расстроенной внимать —  
И вдруг припомню сено луговое  
И молодую на покосе мать.

В ноги кланяются травы,  
В росных бусинках валок,  
И опять литовку правит  
Мой истертый оселок.  
О своем тоскует верба,  
Наклонившись над ручьем,  
Я один под этим небом  
Не жалею ни о чем.  
Ни о том, что жил я настежь,  
Ни о том, что никогда  
Не вернуть былого счастья,  
Не вернуть мои года.  
Не вернуть!  
И это — точно.  
И звенит, звенит коса...  
И в цветном, как луг, платочке  
Дочка смотрит мне в глаза.

### ОБИДА

Всегда спешил —  
Людей смешил  
И в общем жил  
Потешно:  
Металл кувалдою крушил,  
Бабенкам головы кружил,  
До самой смертушки грешил  
Прилежно.  
Когда же умер тот кузнец,  
Сказал сынишка: «Спи, отец».



Сказала дочка: «Спи, отец,  
Землица пухом».  
Лишь та, с которой он, юнец,  
Шагал когда-то под венец,  
Молчала глухо.  
Ему прощали небеса,  
Прощали степи и леса,  
Прощали детские глаза  
Свои печали.  
Но, будто взвешивая «за»,  
Над гробом тягостно стояла,  
В ней сердце билось, как гроза,  
И... не прощало.

*г. Новокузнецк*

## ДИАЛОГ

- Полынь, полынь, ты что ж горька?  
— Во мне тоска твоя, тоска.  
  
— А ты, луна, зачем бледна?  
— Во мне душа твоя бедна.  
  
— А ты, ты бел зачем, туман?  
— Во мне скопился твой обман.  
  
— Зачем ты, солнце, горячо?  
— Затем, что ты здесь ни при чем.

## Владимир Горбась

### КАЛИНОВАЯ ВЕТВЬ

(Баллада)

Весь полный смысла, силы, естества,  
зеленый лес — контраст моим заботам.  
Спокойна до поры зеленая листва,  
хоть скрыта в ней осенняя зевота.  
Земля влажна, земля жирна до пота  
и наплодила ягод и грибов,  
что даже рвать и резать — неохота:  
щедрее дар затраченных трудов.  
Лениво. Скучно. Только встреча с сыном  
и радует, волнуя, — и болит...  
Вокруг над нами красная калина,  
большими гроздьями, к зиме себя калит.  
В нас — что-то горькое и схожее с калиной:  
я — дерево, сын — ягодка моя.  
Разлукой скорою болей оба с сыном,  
не говоря о ней — и грусти не тая.  
И не случайно оба замечаем  
среди прочих дерево с багряною листвою;  
внимая нам, оно, едва качаясь,  
кивает нам осенней головой.  
Она прекрасна и щедра красою!..  
и хочет подарить осенний свой привет.

И трепетно, без всякого разбора  
мы приняли как дар ее родную ветвь.  
Калина распрямилась после среза,  
должно быть, гордая, что может одарить  
не только лес приумноженьем леса,  
но и людей — огнем своей зари...  
Я шел от сына — к женщине любимой;  
была разлука с сыном тяжела,  
и только ветка горькая калины  
мне душу врачевала, как могла.  
Спешил дойти, повесить в изголовье  
багряную калиновую ветвь,  
чтоб всех троих, пусть горькою любовью  
смогла соединить нас и согреть...  
Когда же любовались вы друг другом,  
две женщины осенние мои,  
в себе я ревность новую с испугом  
осмыслил вдруг и с грустью затаил.  
Я ревновал свое предназначенье  
к калиновой свершившейся мечте...  
А спелые стихи как озаренье  
калиной красною созрели на листе.

## О ПЕСНЕ

Что-то песни нас все реже радуют  
и поются в праздник не у всех....  
Лишь на телевиденье и радио,  
а не в сердце — песенный успех.

Ишут-рышут в дебрях цветомузыки,  
микрофон глодая, словно кость,  
песни — энтээровские узники:  
в ногу — с веком, а с душою — врозь.

Продают в Венеции и Сопоте,  
и с других блистательных эстрад  
песни — неприемлемые в комнате  
и совсем чужие — у костра.

И душа кричит: «Не надо портить  
песни славой, громкой и пустой!  
Как рекорды хороши лишь в спорте,  
так они прекрасны простотой.

Их поет не понятый в нас случай,  
неслучайный в ком-нибудь другом.  
Петь не можешь — просто тихо слушай,  
подпевай душой о дорогом.

И не надо громкой славы песне.  
Что в медалях проку для собак?!..  
Песня — чтоб побыть минуту вместе  
с тем, что не случается никак...»

\* \* \*

Отсуетилась осень, отшумела  
опавшею шуршащею листвою,  
и тополя как будто стали выше,  
и легче, и прозрачней, и звончей.  
Уж быть зиме, да где-то задержалась,  
и солнышко немного виновато  
глядит на нас, бессильное согреть.  
И облака плывут неторопливо,  
похожие на белые стихи.

Мы вышли нынче с дочкой на прогулку.  
Субботу по неспешности прохожих  
я узнаю  
и рад тому, что завтра  
у них опять начнется выходной.  
И очередь у винного отдела  
меня сегодня вяло беспокоит  
классической трагедией своей.

Антракт в природе, в городе, во мне.  
Лишь взгляд дочурки прыгает, как мячик:  
играет им большое любопытство —  
на первый зуб попробовать весь мир.

г. Новокузнецк

Геннадий Юров

## СТАРИННАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ ПЕСНЯ

Гимн студенческой молодежи, существующий уже много веков, сложен на латинском языке. Однако есть множество попыток перевести его на современные языки, в том числе и на русский.

Когда я слышу старинную студенческую песню, сразу переношусь памятью в юность, в город Томск, где я учился в университете.

Встреча с этим городом всегда волнующа. Вот проспект Ленина в той его части, где расположились известные всей стране вузы. В глубине осенней рощи возвышается моя «Альма матер», старейший вуз Сибири, Томский государственный университет. Шелестят листья, опадая с ветвей. Шелест плывет мимо здания научной библиотеки и взбирается по крутой беломраморной лестнице к главному корпусу политехнического института. Все здесь широко, объемно, величественно, как и подобает древней обители науки, ниве человеческой мысли, знания.

Томск завораживает тем больше, чем ближе узнаешь его. Я люблю этот город, его контрастное и вместе с тем естественное сочетание старины и современности. Здесь есть кварталы и улицы, которые напоминают о купеческих ярмарках, о судьбах сосланных в Сибирь декабристов, об атмосфере революционного подполья и партизанской борьбы. А то вдруг кривым переулком с особняками за высокими заборами вы выйдете на широкий современный проспект, возникший совсем недавно.

Неповторимы томские проспекты в студенческие часы пик, когда под сводами тополей так много песен и гитарного звона, что

автомобили, будучи не в силах пробиться через нескончаемый людской поток, сворачивают в поисках объезда. Этот поток выплескивается в Лагерный сад, раскинувшийся на высоком правом берегу Томи. Песни звучат над широкой долиной, в величавом спокойствии которой чувствуется близость устья.

Дальнейшее повествование я доверяю своей поэме «Альма матер», главе, которая так и называется «Старинная студенческая песня»:

Мне римляне оставили язык.  
Не пригодился.  
Но в ветрах скитаний  
Звучало «Альма матер» — материк  
Моих начал, надежд, воспоминаний.

На горных полигонах Колымы,  
Где крут словарь, чтоб проявить характер,  
Мне восходило солнышком из тьмы  
Письмо товарища:  
«Привет от «Альма матер».

В ледовых водах Чаунской Губы  
Иль на Запсибе,  
Повстречав собрата,  
Воспринимал я как пароль судьбы  
Его слова:  
«Привет от «Альма матер».

Подскажет, растревожит, прогремит  
В успехе — гимном,  
В слабости — набатом...  
Мне часто снилось, будто предстоит  
Экзамен главный перед «Альма матер».

И я пришел через десятки лет,  
Сдаваясь неизбежности возврата.  
У входа в Томский университет  
Снимаю шапку:  
«Здравствуй, «Альма матер»!»

\* \* \*

Дворцовые величие и стать.  
Античность колоннад.  
Моя столица.  
Но с поезда сойти и шапку снять  
Еще не означает — возвратиться.

В мерцанье окон уловить упрек,  
Искать поспешно проблески прощенья.  
И вдруг у горла ощутить комок...  
Но это все — еще не возвращенье.

К кому-то подойти, заговорить,  
Смутиться, встретив вежливости холод.  
И с горечью —  
Впервые, может быть, —  
Себе признаться, что уже не молод.

Взглянуть окрест,  
Где был топольник густ,  
Найти чужими выросшие зданья...  
Но для меня черемуховый куст  
Сберег свои былые очертанья.

Рукой ловлю протянутую ветвь  
И будто крутизну одолеваю:  
— Как мне вернуться? Помоги! Ответь!  
И шелестит черемуха:  
— Не знаю.

\* \* \*

А все-таки я дома — не в гостях.  
И соловьиной рощи не миную,  
Где до сих пор, порхая в тополях,  
Живут мои шальные поцелуи.

И шумный общежитский коридор  
Меня впускает, отказать не вправе,  
Здесь до сих пор не замолкает спор  
О доблести,  
О подвигах,  
О славе.

Про звездный неразведанный маршрут,  
Про новый город на планете старой  
Сократы и Коперники поют.  
Им хорошо поется под гитару.

Веселая республика жива.  
Моя коммуна,  
Вновь сойдясь на круге,  
Признай мои гражданские права,  
Восстанови все прежние заслуги.

Я — твой, когда-то звонкий, трубадур.  
Теперь не узнают, куда ни сунуть...  
Звучит — «Гаудеамус игитур»,  
Звенит над Томском:  
«Ювенес дум сумус!»

Будучи второкурсником, я перевел старинную студенческую песню на русский язык. Я стремился к абсолютной точности. К точности в передаче ритма, интонации и, конечно же, сути. Слова песни просты, лозунговы и полны глубокого философского смысла. Несмотря на то, что она оперирует такими категориями, как «смерть», «могила», «ад» и «рай», песня бодрa и оптимистична, задорна и жизнеутверждающa. Впрочем, судите сами.

Будем жить, пока полны  
Юности и силы!  
Быстро молодость пройдет.  
Впереди нас старость ждет.  
А затем... могила.

Где все те, что прежде нас  
Жили в этом мире?  
Поднимись до райских врат,  
Опустись в угрюмый ад —  
Там их боги скрыли.

Жизнь земная коротка,  
Краток миг отрады.  
Смерть коварна и сильна,  
Всех нас унесет она,  
Никому пощады.

Славься, Университет!  
Высься величаво!  
Слава вам, профессора,  
Стойким рыцарям пера!  
Всем студентам слава!

Нашим девушкам хвала,  
Стройным и красивым.  
Славу женам воздадим,  
Нежным, скромным, молодым  
И трудолюбивым!

Пусть отечество цветет  
Светлым и богатым!  
Слава тем, кто у руля  
Государства-корабля!  
Слава меценатам!

Пусть ни в буре, ни в беде  
Робость нас не ежит.  
Пусть покроет смерти мрак,  
Всех, кто нам, студентам, враг!  
Слава молодежи!

Более всего хлопот доставила мне строфа, которая начиналась словами: «Виват, Академия, виват, профессорес!» Я заменил Академию на Университет. Допустил я и другую вольность, назвал профессоров «стойкими



рыцарями пера». Этого не было в латинском тексте. Это не точно и по существу. Стойкие рыцари пера скорее поэты и писатели. И вот что удивительно: именно эта строфа стала жить своей жизнью. Именно ее уже четверть века поет прославленная хоровая капелла Томского университета:

Славься, Университет!  
Высься величаво!  
Слава вам, профессора,  
Стойким рыцарям пера!  
Всем студентам слава!

В работе над русским текстом старинной студенческой песни у меня были квалифицированные наставники. Это преподаватель латинского языка доцент Элиза Федоровна Молина и заведующий кафедрой классической филологии профессор Лев Дмитриевич Тарасов.

Тарасов — составитель и комментатор хрестоматии по античной литературе. Латинский и древнегреческий знал в совершенстве. Несмотря на свои семьдесят лет, он пел нам, студентам, «Илиаду» Гомера в ритме морского прибоя, именно так, как она создавалась.

Лев Дмитриевич был автором русского перевода старинной студенческой песни, который сделал еще задолго до моего рождения. В его переводе есть архаизмы, грамматические конструкции, характерные для прошлого века и устаревшие сейчас. Но, по всей видимости, это абсолютно точный перевод. Трудная строфа, о которой шла речь выше, у Тарасова звучит так:

Слава Академии!  
Профессуре — слава!  
Пусть все счастливо живут,  
Все и каждый пусть цветут,  
Как весною травы!

Мне повезло, что мой перевод старинной студенческой песни вместе с переводом Льва Дмитриевича Тарасова до сих пор считается одним из наиболее удачных, известен в Томском университете, а также в университетах Кемерово, Барнаула, Тюмени, Новосибирска — везде, где работают выпускники Томского университета.

Когда я показал свой текст Льву Дмитриевичу, старик был очень растроган. Он долго беседовал со мной о сущности поэтического творчества и благословлял меня на этот тернистый путь. Вот как описывается это событие в поэме «Альма матер»:

Я этот гимн тогда переводил.  
Последний римлянин, профессор был  
пристрастен.  
Меня своим подстрочником снабдил:  
— Мир смотрит на тебя,  
Ты постарайся.

Я жаждал взлета каждой строкой.  
Я сотню раз пропел свое творенье.  
Меня профессор старческой рукой  
Коснулся, выражая одобренье.

Он так сказал:  
— Не может, мальчик мой,  
Поэзия в обязанность вменяться.  
Дай бог тебе судьбы непроходной —  
На должность и на чин не разменяться.  
Он говорил мне это не во зло.  
И что наделал дед белоголовый:  
В моей душе однажды проросло  
Нечаянно зароненное слово.

Они со мной, Катулл и Марциал.  
Да и завет я выполнил неплохо.  
Профессор сдал дела.  
Я опоздал.  
Последний римлянин ушел в свою эпоху.

В 1980 году старейший вуз Сибири — Томский государственный университет праздновал свое столетие. Я был участником торжеств и радовался тому, что пригодилась моя поэма «Альма матер», ее главами открывался праздничный концерт. Она звучала также в одноименном спектакле народного театра томского Дома ученых. Строфами из поэмы «Альма матер» я и закончу свой рассказ о старинной студенческой песне:

Я всю жизнь защищать готов  
Простую истину:  
Романтика — не мода!  
Как не бывает моды на любовь,  
На труд, на честь, на долг перед народом.

Есть мода, чтоб охаивать ее,  
Иль восхвалять, упоминая все...  
А человек рождается, растет  
И паруса романтики рисует.

\* \* \*

Пришла неоспоримостью примет  
Пора защиты.  
От предвзятых мнений.  
От словоблудья призрачных побед.  
От боли неизбежных поражений.

От предсказавших тленье наперед,  
Как будто молью, скепсисом побитых.  
От черной зависти,  
От мелочных забот.  
От суеты сует —  
Пора защиты.

Пора защиты.  
Но сдержите прить  
И под шумок в итоги не тащите  
Ни то, что невозможно защитить,  
Ни то, что не нуждается в защите.

Не соберет согласных голосов  
И большинства, я верю, не получит,  
Кто привнесет приоритет чинов,  
Кто в степень возведет  
Благополучье.

Экзаменов последних главный тур —  
Пора защиты.  
В памяти воскресни,  
Звени, «Гаудеамус игитур», —  
Старинная студенческая песня.

\* \* \*

Идет в аудитории полей,  
Дорогой опоясала планету  
Защита диссертации моей  
На соисканье звания поэта.

Вернувшись, потеряешь иль найдешь?  
И надо ль возвращаться человеку?  
И ты другой,  
И дважды не войдешь,  
Учили древние,  
В одну и ту же реку.

Но нам не часто древних вспоминать:  
В полете века дороги мгновенья.  
Есть возвращенье — как движенье вспять.  
Есть возвращенье — как вперед движенье.

Прощай, мой Томск!  
И верь, я возвращусь,  
Приду к тебе победно иль повинно  
И слухом стосковавшимся коснусь  
Названия — Сибирские Афины.

Горят огни в учебных корпусах  
И вдаль плывут, чтоб осветить фарватер.  
Пусть навсегда пребудет в парусах  
Дыхание твое,  
О, «Альма матер»!

*Валерий Золотухин*

# ПОДВИГ СЛОВА

## О языке

Написал заглавие на рабочем листе и испугался. Вот о чем я замахнулся поговорить — о языке! Или ответить Вам, уважаемый редактор, на вопрос, среди прочих для меня главный: «Как Вам удалось сохранить самостоятельную жизнь, и самостоятельное слово?» А я себя спрашиваю (в страхе опять же): «А удалось ли действительно?» Почему я так долго не отвечал на Ваши вопросы и не знаю, отвечаю ли вообще? Да потому что:

1. А смею ли я говорить об этом? И есть ли мне что сказать?

2. И нужно ли вообще об этом говорить? Есть ли смысл в этом, есть ли польза, рабочая польза?

Мною так мало написано и ничего в литературе не сделано еще, чтобы о проблемах языка рассуждать. «Пусть рассуждают другие, а ты лучше бы своим делом занимался», — говорю я себе. Но в Вашем вопроснике Вы отметили, что я как актер каждый день в силу профессии имею дело со словом: поэтическим (разных веков), прозаическим, разговорным и, наконец, песенным — и неужели нет ничего «наболевшего»? И тут Вы правы, если с этой стороны поглядеть...

Все споры, разговоры, изложение «кредо», позиций, защита родного языка (от кого?) — на мой взгляд, сплошная междоусобица. Читаю газету: один мой любимый писатель, защищая родной наш русский язык, долбаит другого моего любимого писателя за этот же язык — так, дескать, в деревне не говорили,

не говорят — и даже цитаты приводит. В другом номере читаю ответ или продолжение якобы дискуссии о языке — критик разносит первого, защищая второго. И пошла писать губерния... А я вообще перестаю читать статьи под рубрикой «Как мы говорим, как мы пишем», потому что это, словами Есенина, «Сплошные мужицкие войны — Дерутся селом на село... То радовцев бьют криушане, То радовцы бьют криушан».

И вступать в эту свару по поводу языка мне противно. Потому что требуются примеры — и не из классиков, а из нынешних. А примеры — это опять твой вкус, твои привязанности, и опять получается свара. А без примеров, без сравнения одного языкового поля с другим, без защиты одного и порицания другого читателю ничего не скажет твоя статья, твои рассуждения. Читателю ведь что нужно? Ему подавай, как ты думаешь, что такое хорошо и что, по-твоему, плохо. А если этот дележ на семена и плевелы производит человек в некоторой степени известный, то значит: так и нам надо думать, как он; равняться на его вкусы, на его привязанности и прочее. А писателю эти свары вообще не нужны. Никакой пользы от них нет, ничего, кроме порчи желчи или получения инфаркта от грызни. Потому что у писателя (разумею хороших писателей) есть или непременно должно быть чутье языка. Это чутье ничем не заменишь и не определишь. Ему не научишь, и Даль не

поможет. Это данность. Между прочим, то же самое, что у актера: один чувствует слово, любит его, понимает, а другому — до фонаря. Ему важно не авторское слово, а свой голос показывать, так сказать, свою грудь выпятить.

И искать кладовую русского языка на Севере, Алтае, в Одессе или Иркутске, или где-то еще — это, по-моему, занятие пустое. Потому что кладовая языка — вся Россия, вся ее духовная история. Язык един. Просто писатель в силу своего дарования отбирает то слово, которое ему необходимо. Вот у Шукшина — чутье к диалогу, к разговорному языку. Тут он мастер. В диалоге — характеры... с философией, моралью, судьбами. Ему, Шукшину, некогда вроде заниматься описаниями, всякой авторской дребеденью, отступлениями и прочим. Все заключено в диалоге. И зависть берет: вот ведь подслушал!.. Вот ведь память! Поеду-ка я туда же с магнитофоном или с блокнотом, угощу мужиков, запишу и выдам на-гора в родную литературу то, как народ говорит; тот самый ключ найду, родниковое слово...

Чушь и насмешка! Я из тех же мест. Так же говорит народ. Вернее, каждая фраза, взятая отдельно, может быть сказана, безусловно. Но в том-то и сила шукшинского слова и секрет его, и стиль его письма (хотя сам Шукшин сейчас, наверное, поморщился бы да плюнул в сердцах), что он ведет диалог характеров точных, разных — но **своих**, выдуманных. Это большая поэзия, высоко нравственная поэзия. Какими бы на первый взгляд ни казались герои Шукшина грубыми, несваренными, кирзовыми; каким бы портяночным ни казался их язык... Кажется, я влезаю в свару?..

А хотел-то я сказать всего лишь, что это не «подслушано и записано» (хотя это может быть и подслушано и записано), а это есть **сочинение** писателя, у которого врожденное чутье к такой именно форме литературной, к такому составу языка. Чутье и знание. А талант, данность — от папы с мамой. Эти слова и образы с детства и на всю жизнь вошли в состав крови его, и потом он мог уже и не ездить за ними на родину. Город же определил им место, сделал слово Шукшина худо-

жественным. Кстати, в состав шукшинского словаря вошло много и таких слов, которые могли к нему прицепиться только в московском троллейбусе.

Или вот у Распутина: «Опять с грохотом и страстью пронесло лед, нагромоздив на берега торосы, и Ангара освобожденно открылась, вытянувшись в могучую сверкающую течь». Почему, в который раз открывая «Прощание с Матерой», я вздрагиваю, ровно по мне ток пропустили от этого — «вытянувшись в могучую сверкающую **течь**? Течь — нож! Или, может быть, это только на меня так действует зачин «Матеры»? Ну кто так говорит? Какая старуха обронила, а Распутин поднял? И какие тут особые, неслыханные слова! Нет, вероятность, что так могут сказать в народе, есть, но образ родить может только писатель. Вот эту «течь» может сказать только писатель. Это слово точное, найденное. В конце концов оно-то и определило весь стиль и смысл фразы. Это бесспорно для меня. И для меня уже в самом зачине этом есть густое предчувствие повествования не шустрого, но эпического, могуче-серьезного. Так же и читать надо, как бы предупреждает меня писатель, не проглатывая страницу за страницей, а всасывая все струи, все слова, пропуская их через себя. Замечательный язык! И почему-то добавляют — русский. Да, конечно, русский, какой же еще?

А каким языком написан «Арктур — гончий пес» Юрием Казаковым? Для меня, например, этот «Арктур» — как учебник, пример из «Родной речи», наряду со страницами прозы Пушкина, Лермонтова, Толстого, Бунина. Словарный состав и стиль Казакова отличны, разумеется, от распутинских, а писатели для меня родные, хотя и разные.

Горький, наряду с классиками, со «Словом о полку Игореве», призывал молодых писателей для постижения русского языка читать Библию, Псалтырь, вникать в «Песнь Песней» Соломона. А где их взять? Ведь не в содержание же Библии призывал вникать великий пролетарский писатель-атеист, а в язык, в образность, в речь саму по себе.

Или когда авторитетнейший наш критик Феликс Феодосиевич Кузнецов громит на стра-



ницах «Литературной газеты» русского писателя Набокова за немарксистское содержание его книг, но называет его при этом «изысканнейшим стилистом века», так мне хочется почитать, узнать, услышать этого неслыханного писателя. Содержание мы отведем от формы, как в Библии, а поучимся языку, стилю.

В 1979 году ездил я на шукшинские чтения в Сростки. Поразили меня выступления. Известные и любимые народом писатели говорили перед 15-тысячной толпой о горестях, мытарствах Шукшина, что Москва-де его не принимала (ну, а кто же его тогда принял, как не Москва? Да и причем тут Москва?). Среди прочих бед Василия Макаровича перечисляли долгое отсутствие квартиры, писание на кухне по ночам, непечатание отдельных произведений. Получалось, что отсутствие кабинета или дачи — житейские невзгоды — отозвались в сердцах его читателей, стали болью народной (логика!). Я слушал и поражался: да что вы, ребята, в самом деле? всерьез, что ли? Вот бы сам-то Шукшин послушал. Неужели же, думаю, он не мог сподобиться на кооператив? Да и на машину при желании мог бы набрать... Нет! Противится моя душа попыткам видеть двигатель его творчества в житейских неурядицах. В том-то и дело, в том и величие его таланта, что ничего этого ему не нужно было, не тратил он время на устройство собственного логова, «наследственной берлоги», а писал — в трамваях, в вагонах, в самолетах, на съемочной площадке — где придется. Дар его торопил его. И счастливейшая, на зависть, доля досталась Шукшину, если с каждым годом растет любовь народа к нему. Поэтому что дар у Шукшина был видеть боли человеческие, а не свои выпячивать (о себе он, может быть, только самым близким товарищам говорил). А мы все о квартире, его, о кухне талдычим. Совестно! Человеческие страдания надрывали его сердце, а не житейские лишения. Хотя и они были, конечно...

Только ахаеть, как иногда бьют под вздох.

Записывал я песню к фильму «Инженер Прончатов». Поэт сочинил текст, композитор — музыку. Оркестр симфонический, известный дирижер дирижирует, я пою, Красно-

знаменный хор подпевает. Славный коллектив, много людей, все делом заняты... Записали, довольные друг другом разошлись, все хорошо. Композитор фонограмму-дубль под мышку — и на радио.

Через несколько дней звонок:

— Валерий Сергеевич, надо переписать песню с другим текстом.

— Какую?

— «Барыню-речку».

— Почему?

Оказывается: показывали кому-то фильм на двух пленках. Один влиятельный «кто-то» и говорит: «Что это за текст вы поете: «Барыня-речка, сударыня-речка...»? Барыня-сударыня... Архаизмы какие-то, начитались Солоухина...» Другой «кто-то» поддакивает: «В самом деле, это отсталость...»

И взрослые люди?! Батюшки светы! Просто руки опускаются.

И славное, величавое, лукавое обращение к реке — «барыня-речка, сударыня-речка» — заменили на тавтологическое, ничего не говорящее: «реченька-речка, красавица-речка»...

А ведь до этого текст утверждался не одной инстанцией, а послушали — решили переделать. Каково мне было это петь сызнова, да еще с тем же раскатом, с той же вольностью, с тем же настроением?

И что получилось? Композитор отдал на радио и в фирму «Мелодия» первый, авторский вариант. «Барыня-речка» ушла в эфир раньше, чем вышел фильм «Инженер Прончатов» с вариантом «реченька-речка». На радио звучит одно, в фильме — другое. Правая рука не ведает, что творит левая. Говорят, из песни слова не выкинешь. Еще как выкинешь! Стидно.

Кажется, уважаемый редактор, я опять ушел от темы нашего разговора. Значит: как мы говорим, как мы пишем?

Думаю, что пишем-то мы еще куда ни шло, а вот говорим — совсем никуда не годится. Не научаемся мы почему-то искусству этому, не привыкаем. Прimitивные темы, усредненная речь, готовые фразы, блоки, штампы... Отчего? Говорят, ищи причину в себе, и вот я ее ищу.

Как появилась, развилась у меня любовь к

слову, поиску точного слова, отбору, построению фразы? Наверное, надо возвратиться к истоку.

Я в детстве заболел. Три года был прикован к постели. В палате двадцать калек от 7 до 10 лет. Помню, например, у нас под окнами ребятишки в футбол играют, а мы лежим... И вот кто-нибудь начинает: «И зачем меня мать породила? И зачем меня мать родила? Лучше б в море меня утопила, чем в больничную жизнь отдала». И ревет вся палата — какой-то общий, единый всплеск эмоций, безудержное слезопротитие от общей безысходности.

Когда ты на костылях, а кругом жизнь бурлит, сверстники на коньках катаются или в футбол гоняют, а ты во всем этом участия не принимаешь, зная, что в любую минуту можешь упасть, то, вероятно, что-то происходит в организме, какая-то компенсация твоих физических недостатков душевной, эмоциональной или умственной — словом, другой потенцией.

Не знаю, все ли это было одинаково важным, но кое-что наверняка принесло пользу, послужило толчком к тому, что в человеке зародилась иная жизнь, внутренняя, самостоятельная. Впечатления этого внутреннего мира выплавляются в слова, которые с детства услышаны. Услышаны-то они услышаны, но теперь уже переработаны, отобраны твоим сердцем, чутьем. Чутьем к самостоятельному слову. Отбор самостоятельного слова — это уже критический, творческий процесс.

Мне очень дорога оценка Валентина Распутина, назвавшего мою прозу инструментальной. Самому мне интересно читать тех писателей, у которых можно любоваться формой, а не простых бытописателей. Когда предложение так построено, такие слова найдены, такое место определено подлежащему и сказуемому... Если взять фразу Гоголя, если разобрать ее, то (по правилам) вроде бы по-русски так и не говорят, но зато какой в ней внутренний перелив или аккорд звучит! Он, иногда, чуть ли не важнее смысла бывает, вернее, через него-то и доходит этот самый смысл.

Я не пишу о том, чего я не знаю. Я пишу

только про то, что знаю; никогда не упускаю возможности записывать. У меня даже тетрадь есть специальная, и когда я приезжаю на Алтай, то записываю за отцом, за матерью. Потому что у них такие слова, такие выражения услышишь, какие нигде больше не скажешь.

Из Сrostок, после шукшинских чтений, заехал я к брату, Ивану Сергеевичу, в Быстрый Исток. Он мне такое наговорил, что я, как вернулся, записал и отправил в «Алтайскую правду» очерк о нашем селе. Речь шла о том, быть или не быть Быстрому Истоку (планировалось затопление земель, и село хотели перенести от реки выше). Брат мне целый монолог в защиту старого места выдал. И так образно и ярко, такими словами, что я просто подпрыгивал от восторга.

И вот ведь странная вещь: иногда в Москве слушаешь какое-нибудь интересное выступление, стараешься запомнить, а не выходит, не отпечатывается. Умом понимаешь, что важно, интересно, а в памяти слова не остаются. Жалеешь, что карандаша нет под рукой или магнитофона. А моя «алтайщина» откладывается в памяти сама собой, будто я владею каким-то секретом стенографии. Брат целый вечер говорил, я только через неделю сел записывать, а у меня все в памяти, все на слуху.

Когда приезжаю на Алтай, то через полчаса непроизвольно начинаю говорить так, как все кругом говорят. И не потому, что попал в воронью стаю — каркай по-вороньему. Это происходит невольно. И когда возвращаюсь в Москву, первое время продолжаю говорить с той же интонацией, на том же языке, так что даже жена и друзья удивляются. Наверное, это — любовь. Любовь к этой именно интонации, к этой лексике, к этому языку, к природе этой. Жадное и пристальное внимание ко всему, что тебя окружает, что слышишь вокруг, к речам мужиков. Видимо, срабатывает какой-то особый, защитный механизм, не дающий возникнуть вакууму, пополняющий запас (не только словарный), чтобы не иссяк он.

И вот тут кроется «преступление». Как определить ту грань, за которой интерес к окружающему, наблюдательность переходят в

жестокость? Вот я лег спать, вошла мать и начала причитать. Она плачет, а я подглядываю. Почему-то вспомнил сразу, как у Гоголя мать провожала своих ребят в Запорожскую Сечь. И ведь понимаю, что надо бы встать, утешить, сказать ей: «Успокойся...» — а я лежу и жду, чем же это кончится. Как бы в копилку все собираю, думаю: пригодится потом. Пакость какая! И когда мне говорят: «Да ну, перестаньте, это Вы сейчас так сгущаете», — ничего подобного. Мне было 17 лет, и я был достаточно взрослым человеком и понимал, что происходит.

Почему люди так любят смотреть на аварии, пожары, собираются толпы? В прошлом веке многие ходили на казни как на зрелище, специальные пропуска выдавались. У простого человека это, может быть, обычное любопытство. А у художника? Достоевский просил у великого князя Константина пропуск на казни. Я думаю, ему было важно все, что касается человека. Ему это было нужно для пополнения своих знаний о человеческой природе, для дополнительного эмоционального толчка.

Вы спрашиваете, уважаемый редактор, какие причины побуждают человека к творчеству, в данном случае к писательству. У меня было так: мой старший сын Денис заболел, у него обнаружился туберкулез легких, его положили в больницу. Эта связь (я лежал — он лежит) создала потребность... захотелось написать книгу для сына, именно для него, простую, как Евангелие. Чтобы в ней были какие-то заповеди, по которым жил его отец и отец отца.

Все уходит, все забывается. А мне хотелось, чтобы у сына была память. Я думал: я расскажу ему о моем отце, а когда я помру, он расскажет обо мне своим детям. Формула предельно проста: когда человек помнит тех, кто был до него и передает эту память своим детям, то жизнь продолжается. В этом мы обретаем вечность, смысл. Эмоциональная связь, эмоциональная передача того, что было, память о предках, память вообще спасает душу человеческую. У Достоевского прекрасно сказано: если есть хоть одно святое воспоминание, хоть одно святое, то его надо беречь, и оно уже спасет нас.

За что мы храним и ценим летописи? Помимо того, что это величайшие художественные произведения, в них еще заключено бессмертие нашего народа, бессмертие нашей Родины. У летописцев мы учимся и слову и памяти. Памяти рода, памяти языка и веры. Ведь нет для русского человека хуже оскорбления, чем сказать, что он человек без роду и племени. Надо, чтоб были и род, и племя, и язык. Это своего рода религия. Например, у Трифонова в повести «Дом на набережной» его герой Глебов, которого я играю, говорит: «Я ненавижу эти времена, потому что они были моим детством». Я произношу эту фразу всегда со страшным ощущением, понимая трагедию этого человека. Какую жизнь он должен был прожить, чтобы так сказать о своем детстве...

Денису сейчас 11 лет, он пишет повести. Они навеяны мушкетерами, таинственными островами. Но дело не в этом, а в том, как он пишет. Недавно читаю: «Джеймс начал бороться».

— Денис, что это такое?

— Ты что, не знаешь? Ну, это значит наглый, развязный, самодовольный такой, нахал, одним словом.

— Так ты так и напиши, зачем же «бороться»?

— А так лучше, меньше объяснять. Так все говорят.

Что же это такое? Телефонный стиль, что ли?

А что наши дети слышат по радио и телевидению? Всегда ли мы осознаем свою ответственность и достаточно ли строги к слову звучащему, бережливы ко времени слушающих? Новости спорта по всем программам звучат чуть ли не через каждый час. Газеты наши дублируют друг друга. Зачем их тогда выпускать в таком количестве, не экономя ни бумагу, ни труд наборщиков, печатников, киоскеров? Откуда эта бесхозяйственность?

Вы досадуете на образ: «Это время гудит — БАМ». Согласен, кажется, будто шпалой по голове бабахнули. Это издержки скороспелых ответов на социальный заказ, в выполнении которого художник, особенно поэт, непременно должен участвовать. Но скороспе-

лость, поспешность, желание шагнуть в ногу со временем дарят нам подобные поэтические «перлы». А мы, актеры, с той же поспешностью даем им жизнь в эфире.

Сколько крика, пустых фраз, никуда не зовущих призывов, ничем не согретых проповедей мы слышим. И, конечно, тоскует душа по слову высокому и прекрасному. Я эту тоску в значительной степени удовлетворяю в своем театре.

## Театр на Таганке

Таганка началась с Брехта, с «Доброго человека из Сезуана» в замечательном переводе Юзовского, сохранившего и строгость, и мыслемкость брехтовского слова, и прекрасно передавшего на русском языке афористичность, притчеобразность и высокую музыкальную поэтичность сложного брехтовского письма. Этот текст сделали привычным, освоили, не уронив поэтичности, не впадая в бытовую правденку, молодые мастера Театра на Таганке под руководством Ю. Н. Любимова 17 лет назад. Это был театральный взрыв, революция, вызов всем театральным системам, до того существовавшим. Говорю это так, потому что был тому счастливым свидетелем, еще не помышлявшим о возможности войти в этот коллектив. Спектакль этот явился для меня самым сильным театральным потрясением за всю мою жизнь, и, посмотрев его еще и еще раз, я понял, что без этого театра я жить в театральном деле не смогу, мне надо туда, к ним. Мне повезло: меня взяли... И я стал осваивать слово Театра на Таганке, с основания своего призванного жечь глаголом сердца людей — своих зрителей. Разумеется, не один Театр на Таганке имеет это назначение, но я люблю мой театр и другого для себя не мыслю. Я пристрастен.

Вторым спектаклем был «Герой нашего времени», где я уже играл Грушницкого. Это была неудача театра, хотя опять мы имели в своем распоряжении гениальную литературу. Но мы не справились с нею, причины тому можно, наверное, отыскать. Делать этого я не стану, потому что я про другое хочу ска-

зать — про высокий уровень текстов, произносимых с подмостков Театра на Таганке. Настоящая литература, безусловно, воспитывает в артистах внимательность к своей профессии, чутье к слову — не пустозвонному, а к такому слову, за которое можно пойти на костер.

С первых шагов театра его окружили своей заботой, опекой, вниманием лучшие наши поэты и прозаики. В театре после спектаклей читали свои стихи Самойлов и Вознесенский, Ахмадулина и Евтушенко, читал свои пьесы Н. Р. Эрдман. Рождалась мощная линия театра — поэтические спектакли...

Чтобы представить, что творилось тогда на старой Таганской площади, вокруг нашего здания, позволю себе процитировать письмо одного хорошего человека:

«В Вашем письме, Валерий, Вы спрашиваете меня о Таганке сегодня. Про «сегодня» мне ответить трудно. Очень непросто стало с билетами, и в театре я, к сожалению, не бываю («Преступление и наказание» так и не увидел), но ни с чем не сравнится то, чем стала для меня Таганка в свое время. Если бы это не звучало банально, я бы сказал, что Театр на Таганке — это мои университеты. Ведь попав к Вам впервые еще в школе, даже не в выпускном классе, я у Вас учился и тому, что такое театр и что такое литература. В Вашем зале складывались мои вкусы, пристрастия. Любой спектакль становился толчком, стимулом узнать что-то новое. Благодаря театру я занялся фотографией. Благодаря театру сделал свой первый перевод в жизни (Марата-Сада Вайса). Перечитал все вокруг Брехта, Пушкина, Маяковского. Мне так легко было писать сочинение по Маяковскому при поступлении в университет, потому что на любую тему я мог шпарить с любого места, все было на слуху. По-моему, я знал наизусть все 12,5 томов... после того, как собрал полный текст «Послушайте!» — как стенограмму спектакля».

Это письмо мне нравится потому, что оно разъясняет атмосферу, существовавшую тогда (и, хочется верить, сейчас) вокруг театра.

Взгляните на афишу — Брехт, Маяковский, Булгаков, Шекспир, Пастернак, Абрамов, Трифонов и, наконец, Высоцкий... Да, в теат-



ре родился поэт — Владимир Высоцкий. Его приход в этот театр 16 лет назад кажется мне не случайностью, а предначертанной закономерностью... его личной судьбы и судьбы театра.

Как жадно он начинает впитывать слово театра и слово в театре. Разумеется, изначальный дар от папы с мамой, но развиваться он мог в своем неповторимом качестве, думаю, только в этом театре. Галилей Брехта, Гамлет Шекспира, Свидригайлов Достоевского, Хлопуша Есенина — гордость нашей горькой актерской профессии.

Как он любил слово этих авторов, с каким смаком, остервенением и радостью произносил их тексты, всегда по-своему разно, вкусно, зримо, с кровью и плотью, часто вопреки нашей пресловутой актерской органике, пошлomu стремлению передразнить жизнь. Слова произносил артист, но артист, обладающий абсолютным поэтическим слухом, и как бы всем нам, коллегам своим, преподавая — бес-сознательно, конечно, — урок обращения со словом. Эти авторы, их произведения служили ему отличным примером в его собственной поэтической работе.

Помню диалог на репетиции поэмы Есенина «Пугачев» между Н. Р. Эрдманом и В. С. Высоцким (Любимов с желтухой лежал в Кремлевской больнице):

— Николай Робертович, Вы что-нибудь сейчас пишете?

— А вы, Володя?

— Пишу... на магнитофоны...

— А я на в-в-века.

— Да я, честно говоря, тоже на них пишу...

— Коситесь. У Вас получается. Слышу телевизор... Слышу — Вы. Не может быть! Жду титров — Вы. Вы понимаете, что это такое, когда поэта можно узнать по строке? Вы — мастер, Володя, — и он долго и ласково смотрит на нашего товарища.

Ю. П. Любимову Эрдман говорил:

— Это, Юра, черт знает что... Я ведь видал поэтов. Среди них были люди с блестящими гениальностями. И все-таки я понимал, как они работают... Как работает Высоцкий, я

понять не могу. Откуда он извлекает свой песни — не знаю... Его секрета я постичь не могу.

Секрет Высоцкого раскроет время. Не беря на себя смелость сделать это единолично, берусь лишь предложить одну из версий.

В работе В. Турбина «Связь времен» я впервые встретился с толкованием неизвестных для меня литературоведческих понятий, как «микротекстология» и «макротекстология». Микротекстология имеет дело с тем, что сказал писатель, поэт. Макротекстология — с тем, что сказала эпоха, нация. Мне кажется, что Высоцкий обладал поэтическим даром в сильной степени макротекстологического свойства, силу которого развил и удвоил, безусловно, театр, его родивший.

Высоцкий брал в работу самые, казалось, бросовые слова. Он их не присваивал, механически вставляя в стихи, а делал своими, заставляя их жить по-другому, звучать по-новому, по-высоцкому. Его слово многоголо-со. Народонаселение его песен поразительно по многообразию типов, занятий, интеллектов, географической принадлежности. Люди разных уровней, профессий, слоев и положений в обществе считали и считают Высоцкого непреложно своим. Такой точности в лексике, знания натуры, манеры поведения и быта он добивался и донскаивался упорным трудом, умел учиться у всякого, с кем общался, и ведь не был никогда ни альпинистом, ни летчиком, ни фронтовиком. А как влюбленно, с каким неистовым вниманием вслушивался он в мои нелитературные рассказы о чудесах деревенской жизни, впитывая и усваивая крестьянский словарь, прислушиваясь к сибирской интонации, написанному синтаксису.

У Высоцкого-артиста были сложные, подчас конфликтные, взаимоотношения с театром. У Высоцкого-поэта таких взаимоотношений быть не могло. Театр сообщал поэту вторую космическую скорость. Последние годы он все чаще задумывался над тем, чтоб выйти из игры, уйти в литературу, как хотел уйти из кино к столу с бумагой Василий Макарович Шукшин.

И оба не успели сделать этого.

А и сделали бы?! Не уверен.

*Мэри Кушникова*

## **КУЗНЕЦКУ ПОСВЯЩАЕТСЯ...**

«...Я уехал из Кузнецка в 1904 году, и о поре своего детства и отрочества пишу через 67 лет. Меня можно считать как бы пришельцем из того далекого времени, когда в нашем скромном Кузнецке было всего три тысячи жителей.

...Я пережил в Кузнецке детство и отрочество точно так, как сам Кузнецк переживал тогда свое детство, хотя ему было уже без малого 300 лет...»

**НЕИЗДАННАЯ КНИГА.** Приведенные выше слова — из неизданной книги, состоящей из двух частей — «Далекое детство» и «Годы отрочества». Об авторе ее Вениамине Федоровиче Булгакове известно значительно меньше, чем о его брате Валентине, который был последним секретарем Л. Н. Толстого и хранителем яснополянского музея. Преклонение перед гением Толстого как бы передалось от брата к брату. Вениамин Булгаков 18 лет проработал в московском государственном музее Толстого. Но даже если бы служению в толстовском музее не было отдано столько лет, а написана всего лишь одна «История дома Л. Толстого в Москве», опубликованная в двенадцатом томе «Летописи государственного литературного музея», то только за этот труд нашему земляку были бы обеспечены известность и благодарность потомков. Составленный им перечень лиц, посетивших Толстого с 1882 по 1901 годы, по сей день считается ценнейшим литературоведческим пособием.

Вениамин Федорович Булгаков так же, как и его брат, поддерживал тесную связь с гимназическим другом — кузнецанином Константином Александровичем Ворониным, а через него — с Новокузнецким краеведческим музеем, в котором хранится названная неизданная книга. Полистаем ее страницы.

Вениамин Федорович Булгаков не просто гордился своим городом — пусть таким маленьким, всего в три тысячи жителей! Он гор-

дился им, потому что любил его. Любил до последнего своего дня, хотя и прожил почти всю жизнь вдали от Кузнецка. В этом смысле неизданная книга, о которой идет речь, законченная автором в 1966 году, составляет краеведческий раритет и являет собой впечатляющий урок патриотизма. Нередко, слыша и говоря слово «патриотизм», мы перестаем улавливать, что глубинная его сущность — любовь. Если бы нужно было ответить, о чем руюпись Вениамина Булгакова, я бы сказала: о любви.

**ОТЧИЙ ДОМ.** Патриотизм начинается с любви к родному дому, и автор именно любовно «выписывает» его, тем самым даря нам бесценные сведения об исконной деревянной архитектуре Кузнецка. Итак — слово автору:

«Проработав учителем более тридцати лет, мой отец сумел поставить в 1884 году на Соборной улице деревянный дом на кирпичном фундаменте. Сегодня, в 1963 году, этот дом красуется по улице Луначарского под номером 17 с вывеской «Аптека № 9». И теперь, через 80 лет, когда дом ни разу не ремонтировался, венцы основного сруба не берет топор — до того окаменели старые бревна. По тесовой крыше шел тонкий, стolarной резьбы, паранет, а справа выдавалось нарядное парадное крылечко с разноцветными треугольными стеклышками. Мы очень гордились и любовались своим гнездом. Вижу его как сейчас: шесть окон, глядевших на улицу, были с широкими белыми наличниками и двустворчатыми ставнями. Перед домом с красной резной изгородью палисадник, а в нем — кусты малины, березы и тополя. У левого угла росла старая раскидистая черемуха. У правого угла — пятиствольная рябина, гроздь которой нависали над уличной «лавочкой» — скамейкой у палисадника. Справа от рябины, примыкая к глухому заборчику, — ворота. Это было настоящее художественное произведение неизвестного плотника».

Я оттого так подробно привожу это описание, что оно может оказать нам неоценимую помощь. Реставрируется сейчас один из интереснейших памятников Кемерово — деревянный дом Губкиных 60-х годов XIX века, историю которого уже рассказывали. При составлении проекта постоянно возникали вопросы: а какие были палисадники? Что в них росло? И какие были ворота? Ведь ворота всегда играли огромную роль в русском деревянном зодчестве. Они — как бы приветствие входящему. Они — афиша благосостояния дома. Забор может быть неказист, ворота — нет. Они — символ. И вот что мы читаем, невольно сопоставляя с тем, что доводилось встречать по селам области: «Основные столб-стояны одеты тесовыми филенчатыми наличниками и пестро изукрашены резьбой и штапиками, размалеваны масляными красками, как и широкие створки ворот. Так же расписаны обе калитки, резная перекладина ворот наверху. Вычурность и тонкость работы перехватов, выпуклостей, кружевных вырезов, рубчатых плинтусов, пришитых резных поясков и накладных фигурок выявляли богатую фантазию незнакомого строителя, которого мы, ребята, славили, любуясь нашими красивыми воротами!» Они помнили, эти приметливые ребята Булгаковы, что к тяжелым калиткам привешены были литые железные кольца, которые поворачивали внутренние массивные щеколды. А ведь литые щеколды — это отдельная глава русского прикладного искусства и составляет особую тему в народном зодчестве Кузбасса.

Надворные постройки и службы — сейчас тоже большая редкость: в деревянном Маринске, например, почти не удастся выявить их и представить, какие они были в Кузбасе. Во дворе у Булгаковых стоял маленький флигель, курятник и амбар. И вот описание: «Я отхожу от курятника, чтобы взглянуть на малый амбарчик, где имеется два отделения — одно с мешками муки, другое — с пустыми пчелиными ульями и с высокими бадьями густого темного меда». И далее: «Сидя на черном крыльце, мы рассматриваем стоящий перед нами высокий двухэтажный амбар, с крутой крышей». Амбар, глядя на ребята черными дырами небольших окошек без стекол и рам. Высокая двускатная крыша — из узеньких тесин в два слоя. В нижнем отделении большого амбара — склад старой домашней утвари и припасы на зиму. Под полом — погреб, «где на холодных глыбах сибирского синеватого льда с тонким слоем снега стояли кринки с молоком, глиняные чашки с творогом и самодельным сливочным маслом, с кусками красного мяса, которое не портилось в самую большую жару». Первое отделение амбара служило обширной заво-

ней — каретником, где проживал общий любимец семьи жеребец Воронько и сопел по-стариковски двадцатилетний мерин Рыжка.

Вот такие бесценные сведения получаем мы для возможного будущего воспроизведения какой-нибудь кузнецкой усадьбы, а может, и нашего «чалдонского корня», как мы условно называем кемеровский деревянный дом Губкиных...

**КАК ЖИЛИ НАШИ ДЕДЫ.** Нередко при создании музейных экспозиций возникает вопрос: как выглядели интерьеры середины — конца XIX века в захолуственном уездном городе Кузнецке? Кроме ссылок на скупые описания Берви-Флеровского нигде ничего не встречалось. И поэтому, как например в литературно-мемориальном музее Достоевского, возникают «вариации на вольную тему», подкрепленные лишь тем, что нет-де четких свидетельств... Но вот ценное свидетельство, которое, кстати, двадцать лет втуне дремало в музейных фондах: «Встают в памяти наши комнаты с пестрыми домоткаными половиками. В простенке между окон висело старенькое зеркало в широкой коричневой раме. Под ним — стол для наших игрушек, кубиков, кирпичиков. В углу — небольшой гардероб, из которого по вечерам мы извлекали чиновничью парадную треуголку отца и его коротенькую шапку, и в ночных рубашках по очереди маршировали в этой треуголке...

В столовой — большой стол и треугольный столик для самовара в углу. Старый буфет у стены, у стола — десяток простых стульев с деревянными спинками. На стенке часы-ходики с двумя гириями, которые и теперь тикают в моей комнате».

Была в доме и гостиная — смотритель уездного училища, даже в отставке, обязан жить «прилично». Овальный стол и четыре кресла, два маленьких столика в простенках между окнами обеспечивали пристойность крохотной гостиной, из которой попадали в зал — три окна на улицу! — где на столике стояло чудо той поры, «гирофон» — музыкальный ящик, сродни старинной шарманке, а по стенам стояло десятка два стульев и узкий длинный стол, служивший гостям буфетом, — что-то вроде своеобразного самообслуживания...

Описание звучит очень роскошно, — но: «На кольцевой пробег шести описанных комнатшек всего два-три десятка детских шагов». Ребятишки Булгаковых, а их три брата и сестра, несутся через все комнаты к няне, которая выдает им отнюдь не изысканное угощение: брюкву, репу и морковь. «Мы тогда в Кузнецке совершенно не знали, что такое яблоки, груши, апельсины, лимоны, мандарины. Нас кормила своими дарами только родная сибирская земля», — читаем мы...



За стенами родного дома начинается улица, начинается город. Каким видели его мальчики Булгаковы, «голопятая ватага далекого детства», как потом назовет их автор?

«С вершины холма мы разглядываем сотни деревянных домиков и амбаров, огороды с тополевыми и черемуховыми садами. Город похож на большую игрушку с двумя церквями, стоящими посреди голых площадок в скупой зелени и маленькой церквушкой среди берез и черемух на кладбище»...

Притягательна для ребят крепость на вершине холма, с деревянным, примыкающим к ней бревенчатым частоколом городского острога. Виднеется Собор, а за ним верхушки топольника у реки Томь. «Мы взбегали на холм, где стоит с XVIII века наша старая с пушками крепость — гордость города Кузнецка», — вспоминает автор.

Гордость! Какое хорошее слово, — дети гордились крепостью. Дети гордились городом. Город, как волшебная шкатулка, готовил для них множество чудес. Кузнецк — зеленый город. И это тоже как бы их личное достояние. Городские березы раскидисты, и мальчишки немедленно находят им применение. Они служат своеобразными клубами: «Одну из них, самую ветвистую, с многочисленными корявыми сучьями, мы любили больше других. Мы устраивали в ее густой кроне кресла-качалки. Переплетая развилины веток веревкой, сооружали зеленые кресла-гнезда». Здесь шел обмен книгами сказок, здесь в отрочестве действовал первый, наверное, в истории Кузнецка клуб книголюбов. Книги берегли, их увлеченно пересказывали друг другу...

**ДЕРЕВЬЯ.** Сказки и природа — фон детства и отрочества Кузнецкой ватаги! И как было не любить природу, если она вплеталась в саму жизнь не только детей, но их родителей, дедов и прадедов. Вот маленький Веня Булгаков в глубоком горе. Он увидел, как плотник рубит молодую сосенку. Сперва полетели щепки, а потом и она рухнула на зеленую траву. «Годы прошли, а память моя сохранила печальную смерть стройного деревца, так безропотно и одиноко погибшего под топором в светлый весенний день...»

Три года назад была срублена «лиственница Достоевского», одна из достопримечательностей кузнецкого пятачка — исторически сложившегося ядра бывшего уездного городка. Смог бы человек, который в детстве плакал, увидев смерть дерева, смог бы он поднять топор на лиственницу Достоевского? Сочувствие и любовь к природе — тоже мощный корень патриотизма...

Ребята Булгаковы очень дружат с кучером Тимофеем. Они любят его за то, что тот «любит своего Воронько больше всех лошадей на свете». «Мне думалось тогда, — пишет Бул-

гаков, — что Воронько и Тимофей живут лучше иных братьев, крепко и преданно любя один другого». А старого мерина Рыжку мальчики Булгаковы уважают особо. Они называют его «дядей». Рыжка доживал у Булгаковых свой век, как бы на пенсии. «Нам так было жалко глядеть на старика, который стоял в стойле у стены с отвислой губой и опущенной головой, со слезами из глаз. Глядя на него, няня вздыхала: «Да, старость, не радость». А ребята при ее словах бежали к Рыжке, обнимали его, гладили, и всячески успокаивали: «Ты старый, зато умный!» — заверяли они его.

**КОРНИ.** Уважение к ним — это уважение к былым поколениям. Ребята Булгаковы очень привязаны к своим дедушке и бабушке, они кажутся им людьми легендарными. Их приезд — праздник в доме. Бабушка всегда приезжает с чистеньким старичком-инвалидом, участником севастопольской кампании. Это ее друг. Он едет в город из села Коураки за пенсией. «Я уже устал ждать. Мне нужна бабушка. До боли горю желанием встречи», — читаем мы. И вот бабушка приехала. Все бросаются к ней. Она еле успевает отвечать на вопросы, но когда в дверях еще и дедушка появляется, опоясанный кушаком поверх полушубка, с накинутой на плечи бараньей дохой, дети, пританцовывая, хором кричат: «Ура! Ура! Дедушка к нам приехал». «Я тянусь всем существом к нашим милым старикам. Я люблю их морщинки, улыбки, голоса. Я расцветаю в лучах их деревенской любвеобильной доброты», — читаем мы далее.

Всегда ли столь радостны встречи деревенской родни в городских семьях... Чем же объяснить эту горячую привязанность, это ощущение живой нити, связующей корни с листвою, стариков и детей? Конечно же не «превкусные серые калачи из пшеницы» и не привезенные деревенские леденцы и таежные кедровые орехи, о которых более чем через полвека будут вспоминать в письмах братья Булгаковы, не эти нехитрые гостинцы делают приезд стариков праздником. Нет, — самое главное впереди. В который раз ребята стремятся с деда, чтобы он рассказал, как «мы с Марфушей поженились». Как только он начнет рассказывать, старики предстанут перед внуками, овеванные поэтической легендой, которая будет сопутствовать им в воспоминаниях потомков до конца их жизни.

«...А отец-то Марфуши, бабушки то есть, старовер был, и не отдает он, дядя Михайло, свою дочь за еретика. А мы-то с Марфушей крепко слюбились, и решил я свой хомуток на шею надеть без благословения отцовского, взял да ночью ее и украл, — рассказывает дед. — А ночь была темная-притемная. А конек у меня был крепыш. Я его с вечера ов-



сом накормил. На деревне ни души, собаки только кидаются. Супротив ворот остановился я и тихонько свистнул. А как вышла моя Марфуша, хомут мой посеребрённый, позолоченный, я ее — в охапку и унес, как овечку из стада. Наш поп бы не обвенчал, так я в Сосновку ее увез за пятьдесят верст. И окрутили нас там вокруг наложя за четвертной билет — на всю будущую жизнь».

Этот рассказ все слышали много, много раз, но ребята восхищенными глазами глядели на деда — «какого-то другого, незнакомого, — как на человека, про которого можно только прочитать в книжке». И незатейливый рассказ со всемирным героем, сидевшим теперь перед ними на сундуке, для них «был лучшим литературным произведением, потому что автор и герой слились в одно лицо. Это было трогательнее, чем Иван-царевич на сером волке». Однако ребята жалели своего прадеда, у которого так лихо увезли дочь, и восхищались им за то, что, перевалив за сто лет, он все еще объезжал тайгу на коне. Но еще больше восхищались похитителем, тем более, что дед был еще и воякой — воевал с турками и брал Шипку, почему и любил солдатскую песню своей юности, которой обучил и ребят тоже: «Сулеймены и аскеры крепко били в Шипку лбом, А мы били их без меры и прикладом и штыком...»

**ФЕЯ.** Пoesия соучастности содействовала детству мальчиков Булгаковых. В Кузнецке жила целая колония ссыльных поляков, попавших сюда после восстания 1863 года. Во флигеле у Булгаковых квартировала старушка Радзими́нская, «всегда одетая в оборки и кружева». Радзими́нская была музыкантшей. Из открытых окон ее квартиры неслись ноктюрны и вальсы. Мальчики заглядывали в окна — «ее пальцы, как маленькие проворные гномы, плясали по клавишам, мелькали голопом. Нам думалось, слушая музыкальные моменты «серебряной старушки», что в ее нарядном флигельке, скрываясь под ее обликом, живет добрая фея и что входить в ее сказочный мир могут только люди красивые, ласковые и добрые. Мы думали, что сама Радзими́нская соткана из своих прекрасных мелодий, — не мог простой черный рояль хранить их в себе». Они следили за ней, когда она шла на прогулку, и с тайным трепетом провожали ее восхищенными глазами, потому что были горды за нее, за ее проворные пальцы, серебряные волосы, за могущество. Мелодии ее неведомых для них в ту пору баллад и сонат даже теперь вспоминаются автору как лучшие минуты из дней далекого детства. Так «серебряная старушка» тоже вплелась в волшебную ткань воспоминаний о родном городе, с которым Булгаковы не расстаются всю жизнь. Хотя наблюдали в нем, в

этом захолустном городишке, отнюдь не только идиллии... Одна из наиболее драматических глав этих воспоминаний — «Отец».

**ОТЕЦ.** До того как мы познакомились с этой неизданной книгой, фигура смотрителя уездного училища Булгакова рисовалась довольно абстрактно. Сейчас мы узнали о нем много больше. Федор Алексеевич Булгаков — сын дьячка из села Оржевка Кирсановского уезда Тамбовской губернии. Окончил Тамбовскую семинарию. Уехал в Сибирь и с сороковых годов XIX века работал в Кузнецком уездном училище сперва учителем, потом смотрителем. Как водилось тогда, он преподавал несколько предметов: русский язык, историю, географию. Ушел в отставку, получив пятьсот сорок рублей пенсии в год, построил дом и стал заниматься пчеловодством. Стремление к достатку? Едва ли. Скорее необходимость — мед продается, огород — кормит. Поднять надо трех сыновей и двух дочерей. А ему — семьдесят.

Федор Булгаков — чеховская фигура. Отдельные страницы его жизни, записанные его сыном Вениамином, как бы продолжают кузнецкую летопись Ивана Конюхова, о которой мы уже рассказывали, это как бы иллюстрация к работам Берви-Флеровского о положении рабочего класса в Кузнецке, наконец, — это возможный прототип для многих героев Достоевского, встреченных в годы ссылки в наших краях...

Одаренный человек в уездном городке. Отставка, при которой нет выхода творческим потенциям. Постоянная неуверенность в завтрашнем благополучии. Среда, в которую так вжился, что не замечаешь, как утрачены черты духовности, которые от этой среды отличали...

Занятия пчеловодством не только кормят Булгаковых. Это и не увлечение для заполнения досуга. Мы знаем, что Берви-Флеровский специально поминает, как полезна для Кузнецка пчеловодческая деятельность смотрителя училища. И вот почему: «Эта огородная пасека была научно-практической лабораторией для точнейших записей и составления научного труда по пчеловодству, — читаем мы в булгаковской рукописи, — результат отцовских трудов и наблюдений за жизнью и работой пчел была толстая папка с рукописью отца под заглавием «Сорок лет пчеловодческих занятий в Западной Сибири». Смотритель в отставке Булгаков послал свой труд в начале 90-х годов в канцелярию томского епископа Макария. Он верил, что его наблюдения принесут пользу, это было его «завещание специалиста», — но рукопись затерялась и никто больше о ней не слышал.

Федор Булгаков, закончивший семинарию, был убежденным атеистом. Он читал Дарвина

и вел бурные споры, не только с кузнецкими обывателями, но и в кругу собственной семьи по поводу «Происхождения видов». Он верил в природу, и у него были свои, хотя и фантастические, но сказочно-прекрасные теории, которыми он делился с сыновьями. На 1902 год был предсказан звездный дождь, и «отец с детским трепетом рисовал перед мальчиками величественную картину: мы взглянем на темное ночное небо и вдруг увидим огненный дождь, что ослепит нас сиянием. Это будет каменный дождь раскаленных осколков земли. Только бы дожить до этого! Если бы этот каскад пролился на холодную землю и вся земля вспыхнула бы мировым пожаром, я с радостью первый сгорел бы в звездном огне. Пусть прольются сегодня потоки расплавленных звезд, а завтра пусть не будет меня на земле!» — Федор Булгаков до звездного дождя, сиречь до 1902 года, так и не дожид.

Это был мечтатель, у которого в семьдесят пять лет на письменном столе вновь появились семинарские тетради по истории философии. Это был врожденный естествоиспытатель, в кабинете которого стояли два застеленных ящика с коллекцией насекомых, полезных и вредных для растений и пчел. В выдвинутых ящиках стола была коллекция искусно засушенных лягушек и ящериц разных видов. Мы читаем: «За два года до своей смерти наш отец основал городскую общественную библиотеку на добровольные пожертвования горожан». Это был 1894 год. Старик Булгаков уже был на пенсии и весь досуг посвящал организации и пропаганде общественной библиотеки, потому что свято верил, что приходское училище, так же как и уездное училище и соборная церковь, должны — обязаны! — быть очагами просвещения для кузнецян. Выйдя в отставку, он так и не перестал считать себя ответственным за роль уездного училища в местной культуре...

Не мудрено, что дети взирали на отца с обожанием. Точно как дед, который сражался на Шилке и похитил свою Марфушу, словно сказочный герой, — отец тоже был овеян легендой. Отсюда такие строки в рукописи Булгакова: «Слово «учитель» я воспринимал до школьных годов как слова «чародей», «кудесник», «мудрец». А позднее в школе считал всякого профессора ведуну всех знаний и тайн природы».

**В ДУХЕ ДОСТОЕВСКОГО.** И все-таки мы прочтем и такие строчки: «Я гордился отцом, он никогда не пил вина, не курил, но картежная игра отравила его разум и ввела в его душу. Наверное, игра служила отцу отдушиной для его неизрасходованной энергии в провинциальной уездной жизни». Ситуация — совершенно по Достоевскому...

Впрочем, мог ли старик Булгаков уйти от

своей среды? «Часто в нашем доме собирались гости, тоже учителя, чиновники казначейства, суда, почты и ночь напролет «резались» в карты...» Слова «банчок», «винт», «стукалка» мальчики Булгаковы узнали с раннего детства. «А бывало, собиралось городское общество в Кузнецкое общественное собрание и там «отцы города» — купцы, чиновники, учителя — картежничали по два, три дня сряду», — читаем мы.

На сорок пять рублей пенсии в месяц надо было пристойно жить. То есть — как все, с кем старик Булгаков работал и жил бок о бок сорок лет. Значит, строго чтились праздники, пышно отмечались дни рождения. Но вот и чеховские нотки: именины отца, сам именинник в стареньком мундире, украшенном тремя орденами, приглашает к столу гостей, широкий стол накрыт для кузнецкого «лучшего общества». Но... — порции мороженого и крема строго высчитаны. Дети внимательно наблюдают за происходящим: «Гостей словно год не кормили — они упиваются и наедаются до отвала. А мы довольны, что некоторые не берут сладкого — оно останется для нас. И мы с радостью видим, что старушки и постники вместо мороженого едят густой кисель с изюмом. Так мы получим добавочные ложки мороженого».

Достоевский побывал в Кузнецке, причем именно в этом кругу, всего тридцатью годами раньше...

Итак: «Крикливую старушку-постницу, Шуйкову, мать смотрителя уездного училища, уводят в детскую. Разгоряченная домашними наливками, она громко спорит и даже кричит на бабушку и другую старушку». Подмеченные зорким оком ребят, в детской разыгрываются маленькие трагикомедии, которые вдохновили бы Достоевского. «Супруга городского старосты, запойная пьяница, ушла в детскую и там пьет уже третий стакан белой водки, тайно от мужа и гостей; низенькая толстуха, купчиха Конова, впила вставными зубами в пирог за обедом, а вытащить не смогла, и скорей, скорей побежала с этим куском тоже в детскую, и с трудом водворила на место искусственные зубы; жена смотрителя училища во время обеда сняла под столом узкие модные туфли и вдруг хватилась правой туфли и бродила по комнатам в одном чулке, разыскивая потерю».

Приезжают все новые гости — представители захолустного «света». Городской староста Попов, смотритель училища Шуйков, два поджарых учителя уездного училища, купец-оптовик Конов, мировой судья, прозванный за скупость «Плюшкиным»; здесь Гребнев, казначей уездного казначейства, здесь доктор Лаптев и его вечный спутник — городской фельдшер. И каждый привел на именины же-

ну, мать, дочерей,—прямо мордасовский салон Марьи Александровны Москалевой!

Общество веселится. Мы почему-то вспоминаем не только Достоевского, но и чеховскую «Свадьбу». А гости все прибывают. Почтовый чиновник с «попугайно разряженной» женой, брат и сестра Недорезовы — базарные лавочники, отпускавшие семье товары в кредит, регент церковного хора с гитарой и какие-то два молодых человека с балалайкой. Теперь все тут. Сейчас начнется настоящий бал. В зале горят трехсвечные бра, на столах — новенькие, редко употребляемые керосиновые лампы и, дорогие по тем временам, стеариновые свечи. Гости начинают петь романсы. В большом ходу «Хаз-булат удалой», «Очи черные», «Цыганка гадала», но и классический репертуар: «Буря мглою», «Скажи мне, ветка Палестины», «Я помню чудное мгновенье». В зале играет настоящий оркестр. Именины без оркестра — это неприлично. И вот — гудит контрабас, в такт вальса его обладатель трясет сизо-малиновым носом и встряхивает лохматой шапкой волос. Рядом, надув румяные щечки, флейтист по прозвищу Дудочка, насаживаясь, выводит ругады. Самозабвенно играют, наклонив седые головы и закрыв глаза, два старичка-скрипача. Имеется и «ударник» — он отмечает ритм медными тарелками и бухает в барабан. Музыкантам шлют заказы: «Казачок», «Барыню», «Комаринскую!» Два кавалера «петухами» разделяют «русскую». Из одного бра выпадает горящая свеча...

...Уездная фантасмагория. Чехов, Достоевский. Может быть, Салтыков-Щедрин.

**КУЗНЕЦКИЕ ПРОИСШЕСТВИЯ.** А вообще-то Кузнецк — «веселый город». В нем все время происходят события. События — разные. Вот например: «На базарной площади на земле сидит здоровенный мужик, без шапки, в рваной рубаше и одном сапоге. Егорка крестится и божится, что никаких денег не брал, горожане кричат, что он обыграл их в карты и обокрал. Стражник сдергивает с Егорки сапог, из сапога летят серебряные и золотые монеты, Егорка валится на спину, стражник надывается: «Это что? Это откуда? И хлещет лежащего Егорку голенищем. Горожане бросаются на землю, подбирают деньги и тоже норовят побольнее ударить Егорку».

Или — еще страшнее. Вспомним кладбище для казенных и засеченных насмерть, о которых писал Иван Конюхов. «Вчера ночью из острога тюрьмы убежал через высокую бревенчатую стенку арестант Михаил Шапкин. Но пуля часового настигла его на дне оврага, когда беглец нагнулся к ручью напиться воды. Все очень жалели убитого Шапкина; как потом говорили, все его преступление было в том, что он поджег два стога сена и

хлебный склад одного богача Пензенской губернии, который не хотел платить ему за работу. Когда Шапкина схватили и стали выкручивать руки, он, обороняясь, ранил одного из сторожей. И как было не жалеть Шапкина — в день побега, в день его гибели ему как раз исполнилось двадцать три года», — пишет Булгаков.

В записках Вениамина Булгакова чувствуется биение жизни Кузнецка столетней давности, отражаются, хотя и косвенно, проблемы тех лет. Беглый ссыльный, беглые каторжане — это повседневность Сибири той поры. Их видел и описывал Чехов, одну из драм Варюхинской переправы описал Гарин-Михайловский. И вот — «кузнецкая ватага» ночью, у костра, в селе Ильинка, что под Кузнецком. К костру приблизил ночной гость. Он признался, что идет в Кузнецк и боится лесных объездчиков. Ребята угостили странника ухой. Гость жадно ел. Видно было, что он очень голоден. Он назвал себя Демьяном Никифоровичем и добродушно рассказал: «Я прошел полями и лесами девятую верст, вот этим ножом я двух волков заporол», — и вытащил из-за голенища огромный нож. Ночной гость закончил еду, облизал деревянную ложку и сунул в карман зипуна. Встал, простился: «Спасибо, ребята! Дядя Демьян вас не забудет по гроб жизни. Только, ребятаки, чур: никому в Кузнецке пять суток не говорите о нашем знакомстве».

**ОТКРЫТИЕ «БОЛЬШОГО МИРА».** Но сколько было и истинных забавных событий, сколько волнующих встреч с техникой, которая в Кузнецк добиралась с опозданием лет на тридцать...

Музыкальный ящик «гирофон» в доме Булгаковых радует кузнецан только «Мазуркой», «Маршем Радецкого» и песенкой «Мой милый Августин». Но вот появилось другое чудо. Мальчики Булгаковы только что узнали про некий поющий сундучок, который показывал в балагане. Все семейство Булгаковых шагает к лугу около уездного училища. Там сколочен сарай: «В дверях наобязно встретил обыкновенный русский человек, а мы-то с волнением ожидали чародея в остром колпаке и парчовом плаще, — таких фокусников мы не раз видели на страницах «Нивы». И вдруг ничего особенного! Стоит шкатулка, а от нее во все стороны резиновые трубки с наконечниками. Хозяин одел какой-то валик на стержень внутри шкатулки, опустил рычажок с иглой на край валика. Что-то зашипело, а потом приятный мужской голос спел: «Я тот, которому внимала ты в полумночной тишине». После «Демона» слушали «Смейся, паяц». Валики сменяли друг друга, сеанс закончился русской песней «Не шей ты мне, матушка, красный сарафан». Уплатив положен-



ные несколько копеек, мать рассказала, что «мы слушали фонограф, изобретенный Эдисоном еще в 1877 году».

Что новшества техники с опозданием появлялись в Кузнецке, мы знаем из многих других источников. Рукопись Вениамина Булгакова так и начинается с описания того, чего «не знал» Кузнецк в конце XIX века:

«В 1889 году мы не знали, что такое электрические лампочки, керосиновые лампы — тоже считались роскошью. Освещались салными свечами, потому что стеариновые были дороги. На седьмом году жизни я впервые увидел на улице Кузнецка единственный в городе двухколесный велосипед. Эту «машину» мы, как настоящие дикари, считали чудом, бежали за велосипедом и жадно завидовали его владельцу».

«Через 90 лет после того как Фултон изобрел свой колесный пароход, в Кузнецке только забрезжила эра пара и электричества». В мае 1897 года кузнецкие увидели на Томи чудовище. Оно хлестало лапами по воде и оглашало тихий городок горластым ревом. Это был пароход. Старушки крестились. Школьники, которые видели пароход только в книжках с картинками, сбежались поглазеть на плавающий двухэтажный дом. Первый пароход, причаливший в Кузнецке, назывался «Томь». Перебросили трап, сбежавшиеся кузнецкие приветствовали гостей, «которые к общему удивлению обыкновенным русским языком кричали: «Здравствуйте, кузнецкие! Принимайте гостей из Томска!» Но вот к пристани подъехал сам уездный исправник в полном параде, и с шашками на поясах явились трое городовых. Капитан пригласил «власти» на пароход, как почетных гостей. Пароход прибыл разведать, можно ли наладить регулярные рейсы между Кузнецком и Томском. Вечером на пароходе была иллюминация. Кузнецк — сражен: «На берегу побывали все городские жители, кроме тяжелобольных и младенцев». Наутро раздался гудок. Мальчишки сбежались на берег. Кузнецкие затыкали уши, лошадей, привязанных у забора, оборвала удочку и вдоль берега помчалась в город. Прощально гудя, пароход развернулся на Ивановку, кузнецкие на берегу кричали «Ура!», размахивая картузами и платками. На следующий год в Кузнецк прибыл пароход «Чулым», пришвартовался к берегу недалеко от Соборной церкви и был удостоен такого же бурного приема...

**РАЗВЛЕЧЕНИЯ.** Умели кузнецкие и развлекаться. Азартным новшеством была лотерея. Событием в 1897 году была общественная вещевая лотерея. Такие лотереи устраивали часто. Например, вздумалось кому-то продать теленка за пять рублей — по той цене непомерная. Покупателей нет. Тогда

владелец обносит жителей подписным листом. Там сказано: «Разыгрывается теленок, которого можно посмотреть в коровнике возле родной матери-коровы и выиграть всего за 25 копеек». Далее описана механика игры: из шапки будут тянуться двадцать билетов по 25 копеек. Кому-нибудь да повезет, — а хозяин получит свои пять рублей. Билеты раскупают мгновенно — каждый надеется заполучить теленка почти задаром. Первая лотерея «на теленка» прошла весьма оживленно в воскресенье, в час дня, во дворе хозяина, и кузнецкие долго обсуждали ее, как увлекательное представление.

Веселиться кузнецкие любили. Масленица — самое подходящее для этого время. Для кузнецких масленица, прежде всего, праздник объедания, но и своеобразного щегольства. Все нанимали лошадей, на тройках и на парах мчались по узким кузнецким улочкам. «Весело звенят медные колокольчики. Вот вороной коренник накрыт голубой шелковой попоной, а пристяжные по бокам — розовыми. Развешаются ленты на дугах. Кошечки украшены коврами. Ковры и колокольчики — предмет особого щегольства у кузнецких. «Собаки возле охотника, олени на водопое, толстые рыбины на синих волнах, полосатые тигры среди зеленых тростников, вышитые на коврах, сменяют друг друга на мчащихся тройках. А гармонисты подыгрывают лихо: «Ах, вы сени мои, сени, сени новые мои». И где брались у наших кузнецких в трехтысячном уездном городишке столько лошадей, саней, ковров, бубенчиков, а главное, столько безудержного карнавального веселья», — читаем мы.

Но вот мотивы, которые мы уже встречали в рассказах писателя Наумова. В Тисуле буйно гуляют по окончании сезона приисковские рабочие, в Кузнецк же приезжают те, кто — удачливее. «Большинство поющих и кричащих седоков этих троек мы видели впервые. В кошевках сидели и стояли, а иногда плясали, размахивая шапками, молодые люди в полушубках, подпоясанных красными, зелеными, черными кушаками, или серебряными поясами с всякими бляшками. Все говорили, что это золотоискатели, которые приехали с приисков «людей посмотреть — себя показать во всей удали»...

Нет, право, кузнецкие умели веселиться! Булгаковская мальчишья ватага жадно впитывает в себя все многообразие повседневной жизни маленького города. Вот ребята маршируют по Соборной улице. Они распевают маршевую песню, которую выучили от солдат крепостной роты. Когда-то ее сочинили участники русско-турецкой войны, герои Шипки. Во времена, описанные в Булгаковских воспоминаниях, Севастополь и Шипка — это сов-



сем недавно, и слова маршей еще многих трогают, как кровные:

Вспомним, братцы, как стояли мы на Шипке в облаках,

Турки нас атаковали, но остались

в дураках...

Под марш ребята шагают с Соборной площади, где смотрели крестный ход, на поле за городским кладбищем. Здесь будет конное состязание, традиционное в ильин день. И вот, низкорослые сибирские лошадки, именуемые «мышками», в первом туре терпят поражение. Их легко обгоняет орловский рысак. Но дистанция увеличивается, состязание идет не на скорость, а на выносливость — бега проходят «от столба до столба». Рысак прошел так пять раз, значит, всего десять километров, и он весь в мыле. «Мышкам» же — хоть бы что. Сибирские лохматые лошадки выигрывают состязание, и кузнечане кричат: «Ура, сибиряки!» Обнимают и поздравляют победителей — жителей окрестных сел...

**ИГРА СТИХИЙ.** Стихий земные и политические докатывались и до захолустного Кузнецка. Оказывается, землетрясения здесь не так уж редки. Мы помним, как в семидесятые годы прошлого века кузнецкий летописец Иван Конюхов описывал такое явление, и вот через двадцать лет оно повторяется. Вот что мы читаем в работе Булгакова: «Ребята сидели в булгаковском амбаре, где мы устроили род детской библиотеки для своей компании. Библиотека жила своей обычной жизнью, и вдруг все затряслось. Амбар задрожал и закачался. На крышах повалились трубы. И кирпичи, громыхая, покатились вниз. Кто-то прибежал и сообщил, что Соборная церковь треснула. Все бросились к каменным постройкам. Почти все они от крыши до фундамента имели черные зияющие трещины в два-три пальца. Кресты на церквях покосились, и купол Собора действительно дал трещину».

Возле собора шел молебен. Испуганные люди жались друг к другу, твердя: «За грехи, за грехи наши!» Некий известный городу вольнодумец, ехидно улыбаясь, наклонился к богомолке: «Бабуся, а что же тогда храмы трещат? Это, надо полагать, попов бог наказывает?» Старушка шарахнулась: «Свят, свят», а вольнодумец, поспытившая, удалился с площади.

...Мальчики Булгаковы собираются в Томскую гимназию. Прощальные каникулы омрачены горем: мобилизуют запасных солдат на войну с Китаем. Толпы кузнечан на площади перед казармами и кладбищем провожают мужей и сыновей. Плачут женщины. И никто не понимает, какие такие дела у России с Китаем, чтобы нужно было воевать. А солдаты сидят по двое, по четверо на телегах, и сотни две телег тянутся через городские ули-

цы к крепости, чтобы доехать до ближайшей станции, а потом уж поездом — до Китая...

Для ребят Кузнецк все время остается непознанным до конца источником. Кажется, прожили здесь всю свою ребячью жизнь, длинной в десяток лет, а не знали, что в Форштадте есть свечной завод. Но вот кто-то из «подгорников» — это форштадтские ребята — зовет посмотреть, как делают свечи. Всем интересно: главный осветительный прибор почти всех кузнецких домов — это подсвечник с толстой вонючей свечой из овечьего сала. Так надо же знать, откуда получаешь свет...

В одном из форштадтских домиков — «завод». В большой горнице на полу сколоченный из досок ящик без крышки. Поверх накладывается решетка из тонких реек. В каждую ячейку решетки вставлена металлическая трубка, через которую мастер протягивает шнур. Он поддерживает фитиль рукой, чтобы тот не смешался от центра трубки, и вливает из чугунка понемногу растопленное овечье сало. Сало быстро стывает — свеча готова. Заполнив все 25 ячеек решетки, мастер выносит ящик в холодный погреб...

**ПРОЩАНИЕ.** В крохотном городке ребята умудряются все время открывать для себя все новые и новые грани жизни. Им уже по 13—14 лет. Они уже учатся в Томской гимназии и приезжают в Кузнецк только на лето. Они уже постигли, насколько Кузнецк мал и тесен по сравнению с Томском. Но они любят его сыновней любовью и не думая осуждать несовершенства родного его лица. Уезжая в Томск, братья Булгаковы приготовили спичечные коробочки, в которые вложили записки: «Прощай, Кузнецк, мы едем в Томск, приедем на каникулы!» Коробочки завернули в плотную бумагу и каждый побежал в сад, чтобы на своем любимом «кресле» березового клуба-читальни — то есть на излюбленном суку — повесить эти коробочки как можно крепче, до приезда из гимназии в мае следующего года...

Кузнечане, уезжая, не могут не проститься с крепостью, со всем родным городком, который так хорошо виден с холма, и вот «вся семерка ребят (Булгаковы едут в гимназию с земляками-сверстниками) соскочила с перекладных и, опередив свои телеги, очутилась на горе у крепости. Сняв картузы, размахивая ими, они кричат наперебой: «Прощай, Кузнецк! Прощай до мая! Прощайте, сады! Прощай, топольник! Река Томь и Иванцовка, прощайте!»

Теперь ребята вспомнили о солдатах, что служат в крепости. Они не раз купались с ними вместе в реке, смотрели на учения и переняли много солдатских песен. Как бы прощаясь и с ними, ребячий хор запекает: «Солдатушки, бравы ребятушки, где же ваши

братцы? Наши-то братцы — за спинами ранцы, вот где наши братцы».

Переезжая на пароме через реку, ребята шумно простились с нею: «Прощай, Томь! Спасибо за последние купания! Увидим тебя, наша Томь, через два дня в Томске! А пока до мая прощай!»

Они действительно вернулись в мае. «Перед нами открылась знакомая панорама городка с его церквушками и десятком двухэтажных домов. Справа светлая лента Томи. Картина, знакомая для нас и дорогая! Мы опять дома!»

«Первым делом, набрав полные горсти цветов, мы сбегали с холма и спешим на кладбище. Здесь покоятся отец и сестра Булгаковы». Потом ребята бродят по родному городу, как бы вновь обретая его...

Так что же привязывало этих юных, а потом серьезных пожилых людей к маленькому невзрачному городку? Наверное, неповторимость его облика, его достоинства и даже его недостатки, потому что «и дым отечества нам сладок и приятен». Его березы, его река, его люди — добрые и чудаковатые, — его улицы, знакомые до последней жердочки любого палисадника, — все это родной дом!

Родному дому посвящена эта рукопись, живо открывшая нам бытовую историю Кузнецка столетней давности. История состоит из вех. Но вехи эти высятся на социально-психологическом фоне, который мы правди-

все всего читаем в личных архивах, в записях такого рода, как названная рукопись. Музейщики по своей сути, братья Булгаковы, знали: каждое свидетельство каждого «обыкновенного» человека — невосполнимо. Мы долго отдавали предпочтение вехам истории и отдельным героям — личностям исключительным. Время подсказывает — расторгнута связь времен. Мы жадно ищем корни наших заурядных предков, не ознаменовавших свою жизнь особыми подвигами, потому что они — часть народа российского, плоть от плоти. Мы хотим знать среду, из которой в тяжелую годину вырастали героические фигуры. Мы хотим знать исторический и бытовой фон, на котором зрели подвиги. Биографии наших малопримечательных дедов и прадедов — литеры отечественной истории, из них складывается биография народа. Прележавши втуне двадцать лет в фондах Новокузнецкого краеведческого музея, рукопись, отнюдь не без труда извлеченная нами и лишь частично обнародованная сейчас, — напоминает о важности таких свидетельств и о целесообразности публикаций таких рукописей.

Автор горячо благодарит за оказанную помощь в получении доступа к рукописи сотрудницу Новокузнецкого городского отделения ВООПИК — Н. В. Мальковец, а также старейших работников Новокузнецкого краеведческого музея Л. А. Побожню и **К. А. Воронина**

Валентина Ляхова

## ДУША ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ

(Заметки о новых повестях Гария Немченко)

Гарий Леонтьевич Немченко родился в Кубанской станице Отрадной. Писатель Гарий Немченко родился в Новокузнецке, на Антоновской площадке, в грохоте строящегося металлургического гиганта — Запсиба. Так что его по праву считают своим и на Кубани, и в Кузбассе. Не по анкетам, не по штампам прописки в паспорте и даже не по выходным данным теперь уже многочисленных книг. Речь идет не о титуле «местного» писателя. Г. Немченко давно уже вышел к читателю всесоюзному, соединив в своем творчестве в единое целое и воспоминания своего детства, и трудное время становления сибирской стройки. Оставаясь в каждой новой своей книге верным самому себе, писатель сохраняет пристальное внимание к окружающим людям, их характерам, поступкам, помыслам. Живые, хорошо знакомые автору, а затем и нам, читателям, герои произведений Гария Немченко не терпят равнодушия ни к окружающим их, ни к своим собственным судьбам. Потому что равнодушие чуждо творческому почерку этого писателя. Потому что он сам — участник, активный участник событий, о которых по долгу своего призвания считает себя обязанным рассказать людям.

И все-таки, наверное, можно сказать, что наиболее заинтересованно ждут появления новых произведений Г. Немченко у нас, в Кузбассе. В последнее время эти ожидания писателя оправдал.

Три новые повести Гария Немченко опубликованы почти одновременно: «Возвращение души» (журнал «Наш современник», 1982, № 12), «Брат, найди брата!» (журнал «Москва», 1983, № 2), «Проникающее ранение» (журнал «Наш современник», 1983, № 2). На первый взгляд, очень несхожие, эти повести вполне «завязываются» в единое целое: и «записовские» в журнале «Наш современник», и «кубанская», если уж употреблять географические определения. Сталевары, мон-

тажники, шоферы, директора — типично «производственные» персонажи в первых. В третьей повести — «Брат, найди брата!» — другое: судьба десятилетнего мальчишки и через нее — мысли о долге, ответственности, равнодушии — то есть то, что относят к проблематике нравственной. И стилистически они так разнятся, эти повести. «Брат, найди брата!» — тут все дается через восприятие ребенка, предельно конкретное, без полутонов, и детская, такая непосредственная реакция неотвратимо движет сюжет к трагическому концу. «Возвращение души» — повесть в рассказах (эта форма давно опробована и принята Немченко), тут слово имеет бригадир Бастрыгин, отец и наставник своим орлам, знающий себе цену, рукам собственным — и всей бригады своей, умеющий за руками и души своих подопечных разглядеть, на звезды над головой заглядывающий, а чтобы не показаться при этом сентиментальным, посмеивающийся над собой и своими хлопцами, с усмешечкой подавая: «А вот еще было...» В повести «Проникающее ранение» (тоже из рассказов составленной) хотя и проходят перед нами десятки персонажей, центральным, без сомнения, является сам автор: его личное отношение к событиям, его восприятие тех, о ком он говорит, его боль, его радость.

Откуда же такое уверенное чувство общности этих трех непохожих друг на друга повестей? «Возвращение души» — эти слова вынес Немченко в заглавие первой повести. Вот оно, общее: душа человеческая, ее отсутствие, ее наличие, ее возвращение — вот что, прежде всего, привлекает внимание писателя, что является предметом его художественного исследования.

По не совсем научной гипотезе бабушки Анфисы Мефодьевны («Возвращение души») нынче на каждого персональных ангелов не хватает: «На такую прорву господь давно уже

не настачится». К тому же раньше проще за душой доглядеть было: люди меньше ездили, больше на одном месте все в кучке сидели. А сейчас попробуй уследи! Сколько их, душой, потерявших своих подопечных, по свету мается! Пока бабушка излагает свою точку зрения на «обездушивание», а заодно и караулит душу своего крепко выпившего внука, грызет совесть душу бригадира Бастрыгина: недоглядели за мальчишкой. И хоть работает Иван не хуже других («Выныячили, выкохали, монтажник стал»), не безразлично бригадирю монтажников, как сложится жизнь у этого парня. Усмеаясь, он себя и массовиком-затейником представит, и строгость на себя напустит, только вот как говорить-то он: «Послал я ребятишек своих за такси...» или: «Эти отчаюги, эти ухорезы мои разом притихли да подобрали». «Мои» — вот что главное. И старший друг, и наставник, и — отец родной он своим «ребятишкам». И не ему смиряться с расхожим: так уж получилось, — один, как зернышко, упал на пашне, колосом пророс, а другой на обочине остался.

— А как же с предназначением человека? С красотой мира вокруг? С людскою совестью?

Прорвется у Бастрыгина вот такое «высокое», сам себя одернет, спрячет патетику за усмешкой, балагурия, расскажет, как проводили они в бригаде собрание с «повесточкой» «О потере души Иваном Приблудным». Только за самоиронией, за комичным портретом «подсудимого», которого заставляют вспомнить, где он душу-то мог свою потерять, проглянет у бригадира сокровенное, выношенное:

— А если ты забудешь о ней, если перестанешь к себе прислушиваться, душу не долго ранить, а то и насовсем потерять.

Метод излечения Ивана сугубо индивидуальный, Бастрыгин его другим в качестве опыта передавать не собирается, хотя своей-то цели достиг: посидел Иван в полном одиночестве в самом на стройке тихом месте (таким местом труба оказалась), и не только подумал о своей душе, но даже днем в своей трубе, из полной темноты-то, на небе звезды разглядел.

— А голос был! Ты бы слышал. И тут я наконец свободно вздохнул. Вернулась-таки она к нему.

Веселый розыгрыш, руки — и сильные, и добрые, мудрость бригадира и, может быть, главное, — чувство родства, семьи единой в бастрыгинской бригаде — и смог достучаться бригадир до своего подопечного, и вернулась душа к своему хозяину, как объяснила бы это бабушка Анфиса Мефодьевна.

Не оказалось такой поддержки, рук забот-

ливых и суровых, у отца Никиты («Брат, найди брата!»), рядом с ним вот такая компания: «Никита посмотрел на одного, на другого, и ему стало вдруг не по себе. Большеголовый истукан Эдик Зиборов, кадыкастый, с глазами навывкате, дядя Павлик. Эти двое — один с красной сыпью на толстых щеках, другой — с приплюснутым бледным носом. Космач — нечистая сила. Лысый и с синяком. В треснутых очках. У которого глаз дергается. И с флюсом. Как будто их нарочно свели вместе».

Десятилетнему мальчишке пьяная компания отца представляется фантастически страшной. Вообще все в повести показано с точки зрения ребенка: добро и зло такие конкретные, точно обозначенные. И в этом мальчишеском мире так оправдана надежда на это детское «вот если бы!»: красные казаки рвут из-за спины карабины, стреляют на полном скаку — и председатель Воронкин стоит с поднятыми руками. А Никита прищипривает коня, чтобы не успел убежать Карповец... Казаки — они из песни, которую раньше любили петь Никита и его отец. Председатель Воронкин и его шофер Карповец — эти «из жизни» Из-за них теперь пьет отец Никиты, разобидевшись на весь белый свет, всех и вся обвиняя, не видя другого выхода:

— А где выход? Ну, подскажи, где? К ним в шайку прибьются, государству очки втирать?

В растерянности этого человека виноваты конкретные люди. Обманули, обидели, и он подался в сторону — к пивному ларьку, там ища успокоения. Не веря уже ни в себя, ни вообще в людей. А мальчишке-то десять лет, как ему-то не верить? И в десять лет человек уже понимает, что красные конники — они в песне, а в жизни выход надо искать самому.

Вполне закономерно, что писатели, обращаясь к этому наболевшему вопросу, в качестве сильнейшего обвинительного документа предъявляют судьбу ребенка: кто более его ранит, кто более страдает от пьяных родителей, от этих трудных «семейных обстоятельств»? К тому же ребенок традиционно предстает и как сторона обвиняющая: ведь устами младенца... В повести И. Дубова «Беглец» мальчишка убегает из дома, чтобы не видеть вечно пьяного «папку». В повести В. Тендрякова «Расплата» сын убивает отца, защищая мать от побоев, унижений озверевшего отца-пьяницы. В повести Немченко — Никита любит своего отца и по-мальчишески наивно пытается его спасти. Ах, какие перспективы открывались перед Никитой!

«Папнет Дружок сперва Никитиною отца, вслед за этим Андрюшкиного, а там третий кто-либо попросит помочь, — от пацанов отбою не будет. И Дружок сначала перекусает



пьянчуг на своей улице, потом в центре... И перекапает он постепенно всех, кто в Отрадной пьет. Очередь будет в процедурный кабинет за уколами, а не в «гадюшник» за пивом».

И дрессируют мальчишки Дружка, исходя из своего уже какого-то жизненного опыта: ведь было такое, когда соседу пришлось ходить на уколы и целых полгода совсем не пил, нельзя было.

Есть в повести сценка, в которой один из отцовских «дружков» вдруг осматривается вокруг и, содрогнувшись от омерзения, выкрикнет, глядя на сжавшегося от страха мальчишку:

«Гони, Миша! Всех выгонишь, а потом сам уйдешь. С мальчиком. Не потеряй мальчика, Михаил! Держись за него — вот так. Так спасешься, а главное, его спасешь, мальчика!»

Не спасет Михаил своего мальчика. В срок журнальных страниц повесть Г. Немченко. Тридцать девять готовят нас к последней. От которой по-настоящему страшно становится взрослому человеку. Слишком спокойно, слишком... отстраненно начинается эта седьмая глава — размером в одну страницу. Про декабрьскую зиму в кубанской станице, про теплое вдруг солнышко.

«В такой день пойдешь в школу в теплое пальто, а обратно тащишь его на себе... Бывает, что и пиджак скинешь — на улице теплень...»

Только не ходит больше. Никита в школу. «Сидит и смотрит перед собой, хорошо хоть ныне не в душной комнате».

Есть у детства что-то вроде заговора: потерял, например, ключ, брось на том же месте другой, крикни: «Брат, найди брата!» — и найдешь. Вот так и Никита — бросился со всей своей детской верой, отзывчивостью вслед отцу и, спасая его, отступившегося от самого себя, выкрикнул неправду про своего собачонка: «Бешеный!» Он еще успел вырваться из рук матери и крикнуть в спины дружно убивавшей собаку отцовской компании: «Дядя, родненький, не надо, он нормальный, я только хотел, чтобы папка мой больше не пил!» Но они уже убили Дружка.

Может быть, то, что случилось с сыном, и вернуло отцу Никиты потерянную им душу. Да только цена-то этому непомерная: душа собственного сына...

От бригадира Бастрыгина не один раз услышишь: «На душе светлеет», «Душа зашлась от радости». Собственно, об этом, о свете в душе человеческой — думают и руководители Западной автобазы (повесть «Проникающее ранение»). «Духовой оркестр, может, потому духовым и называют, что он дух поднимает», — это директор автобазы убеждает своих коллег, в веру свою обращает: без

надежды на праздник человеку и не живет, и не работает. И исторический пример привел из жизни шотландского войска, всех сразивший.

У Г. Немченко такое постоянно: высокое сменяется комическим — не воспарить, от земли бы не оторваться, не дать вот сейчас директору автобазы среди своих-то трибунную речь произнести! И грусть, и боль, и мягкая улыбка, и ядовитая насмешка — все тут соседствует рядом, как и в самой жизни. «Подначки», розыгрыши, анекдотичные ситуации — Немченко частенько заставлял своих персонажей, между прочим, и тех, к кому относится с явной симпатией, пройти через это «чистилище».

Вот ситуация: только что руководство Западной автобазы на парткоме «взгрели», им, отстающим, убийственно обидный вопрос задан: «Может, к вам на днях должны приехать вручать Красное знамя за трудовые успехи и вы поэтому оркестр заказали?» Обидность положения автор еще подчеркнет усмешкой: «Парторг автобазы Мухин начал храбро пересказывать случай из англо-французских войн, но провести историческую параллель ему так и не дали». Но ведь оркестр-то задуман духоподъемный! И вот начинает звучать другая музыка. «После парткома, уже поздней ночью, они сели в директорский «Москвиченок», и Колесников приказал: «Домой!» Это значило: в автобазу. Когда он собирался ехать на городскую свою квартиру, обычно говорил: «Отбой». Слышите? Это вступление ТОЙ музыки. Будут еще ситуации и комические, автор не боится показать руководителей автобазы, мало сказать, в дурацком виде: после парткома, обнаружив прибывшие инструменты оркестра, они будут вышагивать по кабинету с трубами вокруг стола, дудеть, а комсорг Жея еще и выкрикивать, поднимая кулак: «Водителям Западной автобазы — ур-ра!»

Немченко не боится над ними посмеяться, потому что он любит их, сейчас похожих на больших мальчишек. (ведь не случайно, перепробовав все трубы, каждый выбрал себе самую большую). Автор повести понимает: нельзя человеку без мечты, без веры в справедливость, а значит, и в свою победу.

О том, как это достигается, писатель не говорит, ведь все тут вроде бы обычно: «они и до этого делали все, что могли, и после будут выкладываться, как умеют выкладываться люди лишь на сибирских стройках...» И так же бегом скажет Немченко о загремевшем на торжественном собрании оркестре, об охрипшем от усердия секретаре парткома, который с майской трибуны выкрикнет: «Водителям Западной — спасибо!» Куда подробнее будет описана сцена с Крошкиным и его рев-

нивой супругой, только не перебьет эта трагикомическая сцена той духоподъемной музыки, которую дал услышать читателю Г. Немченко, музыки, которая звучит в его душе с записовских времен.

— По духу, я знаю, не москвич. Я из Антоновки, что под Новокузнецком,—это не слова героя, это сам Немченко говорит о себе. Повесть «Проникающее ранение» — наиболее личная для писателя. Он входит к читателю «напрямую»: «Ничего, что я об этом? Вы поймете?» «Об этом» — то есть кубанской станции, где родился и вырос, о друзьях детства, о первой любви и первой ненависти, которые не забываются. Только все чаще мелькают, двумя-тремя штрихами намеченные лица, вспоминаются дорожные имена, истории, — вроде той, с оркестром, связанные с Записом, где прошла молодость. Пытаясь как-то соединить родную станицу с Записом, Немченко мимоходом заметит, что все записовские комсорги (ну, почти все!) были с Кубани, и первый на Антоновке милиционер — тоже земляк (конечно, сразу вспоминается роман «Пашка, моя милиция»). Он не настаивает на том, что Запис построили кубанские казаки, но все-таки...

А все-таки Запис — это то, от чего писателю отойти невозможно: «Все это было всегда со мной, куда бы я ни пошел, все это словно стало частью меня самого».

Есть в повести «Проникающее ранение» на первый взгляд совершенно незначительный эпизод. Так, зарисовка: автобусная остановка, белобрысый парень в серой, мышиного цвета, шапке с длинным козырьком. «Цветок снял, а так ношу, говорят, мне идет, а что?» Цветок эдельвейс, эмблема фашистских егерей, и шапка — тоже их форменная. Но этот пример не для разговора о потрясающем цинизме, встречающемся где-нибудь... на автобусной остановке. Тут важна реакция рассказчика: детская память сохранила, пронесла через десятилетия тот ужас, который, оказывается, где-то жил в душе — столько лет, и вдруг обнаружился при виде этой шапки. Будто тогда, в детстве, в оккупации, человек был ранен, насквозь, навывлет, — этим страхом. И приходит на память термин о ранении, когда автор пытается определить, что для него эти годы, прожитые на Записе. «Проникающее ранение» — вот оно, проникновение той боли, которая столько лет не затихает во мне и моих товарищах. Все мы ранены были нашим черным стальным Записом. На всю жизнь». Познакомить, раскрыть, объяснить, — наверное, сначала и с этой целью обращался Немченко к своим сибирским сотоварищам. Но проходят годы, приходит новое поколение, и теперь уже другая задача: рассказать им, сегодняшним, про опыт своего поколения и

своих тогдашних сверстников. Про учителей своих, «про тех, до кого нам и теперь еще тянуться и тянуться, иначе что мы оставим тем, кто после нас?»

Наверное, можно было бы упрекнуть Немченко за построение повести «Проникающее ранение»: разностильно, эклектично. Лейбензон, тот, этот — лица реальные в реальном Новокузнецке. На минуту появляется директор завода Климасенко, известный на заводе и как «Дед». И вдруг в последнем рассказе, точнее, во второй части повести — «Дед» — уже не Новокузнецк, а Сталегорск, и «Дед» — Веденин. Там — автор о своем, о себе, здесь — повествование обьективизировано, здесь вообще похоже на киносценарий: «видовые» кадры, много диалогов, наплывы в прошлое.. Но прислушайтесь же! Вот первый рассказ, входящий в повесть «Проникающее ранение», — «Присказка», где Немченко говорит о Кубани, о Кавказе, о павлинах и о чем угодно — из «той» своей жизни, а заканчивает словами о Записе, о проникающем ранении. И второй рассказ закончится этой же музыкой: «Туда, туда!» рассказ очень личный, предельно обнажающий сердце писателя, душу его: «Может, потому так настойчиво и стучусь я в свое и наше прошлое, что там оно все начиналось, все сегодняшнее, там оно завязалось, там зрело...»

«В другом краю» — музыка ТОГО времени, ТОГО оркестра. «Крепкие башмаки». Об этом рассказе говорить трудно. И дело не в том, что тут нет сюжета, четко обозначенного, в привычном его понимании. Антоновка и сын, так это все связано, и Митя, и работа, и боль, и любовь... Последние слова здесь такие: «И он успел полюбить крепкие башмаки — на всю жизнь». Чувствуете связь? Можно обозначить эти ниточки, переплетения, только стоит ли об этом? Ведь каждый из рассказов связан с другими музыкально, и, если уловите эту музыку, согласитесь, что композиция повести логична и стройна.. Были отдельные голоса. Вступала скрипка, гремел барабан, пробовали голос духовые. В последнем рассказе «Дед» эти голоса, мелодии, с которыми они вступали, объединились — чтобы рассказать о Человеке и его Работе. О настоящем Человеке и Настоящей Работе.

У него есть кличка: «Дед». И это как пароль для «посвященных». «Что ты тянешься? К Веденину опаздываем!»

— К Деду? — вскидывается водитель. — Так бы и сказали!

Немченко покажет Деда через восприятие тех, кто его хорошо знал. И повернется этот сухонький старик во всей своей многогранности: в своей мудрости, в своем мужестве, и в пронизательности, и силе, и честности, и доброте, и злости, в мальчишестве, в отчаян-

ной веселости. Рассказ о Веденине читать трудно: уходит из жизни прекрасный и безнадежно больной человек. Только скорбная музыка перебивается другой — гордой, жизнеутверждающей: в ней — о бунте человека, о его неизменности, несмотря на трагические обстоятельства.

Горька и радостна последняя встреча Веденина с заводом. «Человек ли кланяется огню? Огонь ли преклонился перед человеком? А может, это только так кажется, что он давно покорился нам, а на самом-то деле он беспрестанно сжигает и сжигает нас... вот сейчас догорает еще один. Догорает Веденин. Но догорают ведь только те, кто вообще обладал этой способностью — гореть».

Остался его завод. Остались его люди, прошедшие школу Веденина, его уроки. И как светлая нотка в этой трагедийной музыке обрыва — маленький мальчик, который, «сунув руки в карманы и приподняв плечи, одиноко идет по аллее». Маленький мальчик — внук Веденина. Мальчик, получивший от Деда свои первые уроки.

Три повести, опубликованные почти одновременно, широко показали палитру писателя: юмор и гротеск, патетику и лиризм, объективность повествования, лирические раздумья, «сказовый» лад. И всегда есть этот «крючочек», на который ловится читательское внимание: Немченко умеет заинтриговать, «подогреть» интерес: в рассказе «Дед» — почти детективный ход сюжета — с тайной, заговором, побегом, появлением таинственного незнакомца. Бригадир Бастрыгин «берет в плен» своей непосредственностью, своим таким «устным обращением» к читателю: «Рассказать, говоришь? Ну, если только хорошенько попросишь...» И идет далее рассказ: «Было это, когда мы...», «Работал у меня в бригаде...»

Но главное — это, конечно, люди, те самые, которые и встают за этими словами: Запсиб, Антоновка. Люди и их Дело. Веденин — начальник штаба, а его армия — это те, для кого завод главное главного. «А нам надо выиграть... У нас завтра в городе — работа». Это капитан хоккеистов. Это Школа Веденина: «Люди в этот день на работу как на праздник должны идти».

Дядя Вася Семенов, обер-мастер, с его «хитростями», с его живым отношением к дом-

не: «Ну... спасибо, что столько лет грела нас». Домна — она для них... очеловеченная: «А ведь она как чуяла, что в последний раз горит».

Бригадир Бастрыгин, над собой посмеиваясь, говорит о своем начальстве, от которого выходишь и косяк дверной бошья сломать: «такой ты стал большой и такой сильный». Только в повестях у Немченко это ведь и на самом деле так: «Стоял, вглядываясь куда-то в основание гигантской печки, и рукой без перчатки тихонько, словно подманивал ее к себе, подманивал... А речь-то — о надвигке домны, события мирового значения! И пошла домна, пошла Запсибовна! «Как бычок на веревочке» — за бригадиром монтажников Игнатьичем.

О своих орденах и прочих наградах, Владимир Быстрыгин скажет мимоходом: «Так вышло». Вместо рассказа об очередном «небывалом трудовом подъеме» он расскажет историю про «здоровый сон на свежем воздухе», когда среди бела дня, в рабочее время, проснувшийся бригадир увидел свою непроснувшуюся бригаду: «А хлопцы мои, как пташки в непогоду, плечом к плечу сидели все рядышком на балке...» Только это «доказательство от противного» впечатляет куда больше, чем иное громкое повествование о героическом труде.

Об орденах — мимоходом, зато подробно — про то, как встречали они всей бригадой бабушку их Ивана, как оттаивали души его «великовозрастных беспризорников», как у самого бригадира при взгляде на старушку «в глазах щипало». Подробно расскажет Бастрыгин, что он думает по поводу семейных отношений, любви, о художнике на стройке. И все это в сознании читательском соединяется с тем, что он уже о Бастрыгине слышал. Тут и гордость за свою профессию («монтажник — голубая кровь!»), и его человеческие критерии («надежный, законов товарищества никогда не нарушит, руку в нужный момент протянет»). И появится в душе у тебя такое уверенное, надежное чувство — от уверенности в бригадире Бастрыгине и его ребятах, и, знаете, легко станет на душе: ведь бастрыгинская бригада, его «пташки» — это новое, другое поколение, сменяющее тех, кто начал строить Запсиб, это им передать хочет Гарий Немченко опыт своего поколения.



# ГОРИТ ОГОНЬ И БУДУЩИЙ И БЫВШИЙ



заны с человеком неразрывными узами. А он, человек планеты Земля, видит в явлениях природы и растениях существа высшего порядка, обладающие волшебными свойствами облагораживать, очищать жизнь людей от мелочей быстотекущей жизни. И эти мелочи на фоне величественной природы выглядят ненужными, а человек, венец мироздания, поднимается над буднями и наблюдает картину жизни всей природы с высоты своего величия. И это созерцание могучей природы делает нас, людей, как утверждает поэт, нравственно сильными и счастливыми.

К числу несомненных достоинств поэзии Колмогорова можно отнести умение использовать в стихах античную и библейскую мифологию, древнюю историю и географию. Они помогают ему усилить эмоциональное и интеллектуальное воздействие стихов. «Гефеста косматая тень», «свиток туч над Олимпом», «Гефсиманский сад», «врата Вавилона», «восьмигранный алмаз Козерога», «чудесная семья Зодиака» — эти символы древних исторических и литературно-философских памятников делают образы стихотворения многозначными, красочными, скульптурно-пластичными. Но основная идея заключается в утверждении историзма человеческого самосознания, которое в прошлом и будущем, в слиянии с природой черпает силы для самосохранения в век научно-технической революции, когда угроза

ядерной войны еще не устранена. Поэт пишет:

Страшно жить только прошлым!  
В нас грядущее лотосом спит.  
Быть, смириться — значит, в мире себя  
растворяя,  
слиться с ним и срастись,  
равным стать и листку и пылинке...

Колмогоров не одинок в постановке вопроса об историзме развития нашего сознания. Он как бы продолжает традицию, начало которой положил Леонид Мартынов. В его стихотворении «Горит огонь и будущий и бывший...» читаем: «Неправда, что живем мы на звезде, давным давно потухшей и остывшей, а приглядишься: повсюду и везде горит огонь и будущий и бывший».

К числу недостатков книги «Дом» можно отнести сглаживание в стихах конфликта человека и окружающей его природы. Автор этот конфликт не умалчивает, но упоминает о нем вскользь, не заостряя на нем внимания. Наблюдаются также повторы одной и той же мысли. Поэт правильно указывает на актуальность ряда философских идей, но высказывает их декларативно, избегает связи с конкретными достижениями науки: физики, социологии, истории культуры в целом. Хотя попытки опереться на мифологию и историю, как уже говорилось, есть, и они автору несомненно удались.

# Содержание альманаха за 1983 год

## ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ ПРОГРАММА В ДЕЙСТВИИ

Время ведет диалог. № 1.

## ПОЭЗИЯ

Владимир Горбась. Калиновая ветвь (баллада). «Отсутилась осень...» О песне. № 4.

Валерий Зубарев. «Восток плеснул кармина...» Великан. Творец. «Живу, считай, на гребне мира...» Огородная быль. № 4.

Александр Ибрагимов. Из поэмы «На расстоянии любви». № 2.

Игорь Киселев. Из неопубликованного. № 1.

Николай Колмогоров. «Уже от высоких зареченских круч...» «Вон там...» «Лишь три минуты знаешь человека...» «Зимняя зелень зеленой тайги...» Родине. «Вот оно...» «Шепот лучей в окно влетела...» «Знаем, что ждет нас...» Желанье. № 1.

Павел Майский. «Таежные травы поверху обсохли...» «С раскормленную мордой нагловатой...» В поселке Сарбала. «А день пришел!» № 2.

Валентин Махалов. В деревне. «Лечу озорно, вдохновенно...» Жеребенок. Свадьба. Ганальская тундра. Древний художник. «На увале деревенька...» № 3.

Михаил Небогатов. Лирика. № 3.

Николай Николаевский. Отпечатки. «Налетел, упал с горы...» Забытое строение. Первый мороз. «Звонкой влагой с трубы водосточной...» «Прекрасна осанка...» Осеннее. «Мост полустерг туманом...» № 2.

Владимир Петраш. Май 45-го. «Вдоль магистральной Трансибирской...» «Крестьянский сын...» Косьба. Обида. Диалог. № 4.

Иван Полуни. Собратьям. «Я чувствую песчинкой одинокой...» «Исцелите меня...» Ходики. № 2.

## ПРОЗА

Евгений Богданов. Научись на гармошке играть. Техника безопасности. Рассказы. № 3.

Афанасий Гуковский. Вольный ветер. Рассказ. № 2.

Владимир Куропатов. Ржавые гвозди. Рассказ № 2. Черный мальчик и белое облако. Повесть. № 4.

Владимир Мазаев. Селевой поток. Главы из повести. № 2.

Виктор Моисеев. День истины. Рассказ. № 3. Виль Рудин. Между вчера и завтра. Главы из повести. № 1.

Борис Синявский. Порученец. Рассказ. № 2. Людмила Филаткина. Два рассказа: Хорошая у Зойки жизнь. Накануне весны. № 3.

Евсей Цейтлин. Свет не гаснет. Документальное повествование. № 4.

## ПЕРВАЯ ПУБЛИКАЦИЯ

Николай Астраханцев. Не переступи порог. Рассказ. № 2.

Александр Головков. Экспертиза на искренность. Фантастический рассказ. № 3.

Владимир Переводчиков. Должница. Рассказ. № 2.

Лидия Хруль. Матвей Коробов. Рассказ. № 2.

## У НАС В ГОСТЯХ ПОЭТЫ ТОМСКА

Михаил Андреев. «Вокруг земли неслась ракета...» № 1.

Владимир Антух. Ритм ходьбы. № 1.

Анжелика Головенко. «А все-то мои нелюбови...» № 1.

Татьяна Григорьева. Телефонный разговор. № 1.

Александр Казанцев. Воспоминание о танцплощадке. № 1.

## ВРЕМЯ — ЛЮДИ — СУДЬБЫ

Николай Грачев. Мы же вахрушевцы! Записки ветерана труда. № 1.

## ПАМЯТЬ СИБИРИ

- Мэри Кушникова. Кузнецкая летопись. № 2.  
Кузнецку посвящается... № 4.  
Виктор Савин. Эхо древней пляски. № 2.

## ПРОБЛЕМА? ДА, ПРОБЛЕМА!

- Анатолий Сосимович. Для чего человеку дача? № 3.

## ЛИТЕРАТУРНАЯ МАСТЕРСКАЯ

- Геннадий Юров. Старинная студенческая песня. № 4.

## НАШ СОВРЕМЕННИК

- Валерий Золотухин. Подвиг слова. № 4.

## ЧЕЛОВЕК И ПРИРОДА

- Геннадий Естамонов. Золушка. № 3.  
Валентин Махалов. В краю сорока перека-  
тов. № 2.  
Анатолий Сосимович. Горожанин в «зеленом  
кольце». № 1.

## ИЗ ДАЛЬНИХ СТРАНСТВИЙ

- Борис Синявский. Лев или Собачка? (Англий-  
ские впечатления). № 3.

## СЛОВО — КРИТИКЕ

- Александр Казаркин. Родники и русло. № 3.

- Валентина Ляхова. Душа человеческая.  
(Заметки о новых повестях Гария Немчен-  
ко). № 4.  
Владимир Ширяев. Реки второй природы. (За-  
метки о творчестве Валерия Зубарева).  
№ 1. Полюса смеха. № 3.

## ЧИТАТЕЛЬ И КНИГА

- Валерий Куприенков. Горит огонь и будущий  
и бывший. № 4.  
Владимир Петраш. «Есть у времени тоже ду-  
ша...» № 2.

## ИСКУССТВО

- Эвелина Суворова. Хлеб творчества. № 1.

## НАШИ ДЕТИ

- Тамара Страхова. Про Дениску. № 2.

## ВЕСЕЛАЯ МИНУТКА

- Александр Алферов. Добро пожаловать, ап-  
рель. № 1.  
Владимир Матвеев. Старомодная. Сногсшиба-  
тельная причина. Из школьного сочинения.  
Интервью с автоинспектором. № 2.  
Анатолий Паршинцев. Объект без недоделок.  
№ 1.  
Александр Фролов. Гордиев узел. Записка.  
Юмористические рассказы. № 3.

## СТИХИ — ДЕТЯМ

- Василий Афанасьев. В первый класс. № 3.





Ю. Г. Лобузов. 1942. Тыл. Холст. Масло



